

К 1400219

50

Александр РОМАНОВ



СВЕТ
ПОБЕДЫ

Вологодская областная
универсальная научная
библиотека им. И.В.Бабушкина

ДАТ Соколовской
центральной
районной
библиотеки

АЛЕКСАНДР
РОМАНОВ

*СВЕТА
ПОБЕДЫ*



Abraham S.

1930-1999

Александр
РОМАНОВ

СВЕТ ПОБЕДЫ

**СТИХИ
ПОЭМЫ
ПРОЗА**

К 1400219

Вологодская областная
универсальная
научная библиотека

ВОЛОГДА
2005

+ КР + КМн

ББК 84С
Р 69

Александр РОМАНОВ

СВЕТ ПОБЕДЫ

СТИХИ, ПОЭМЫ, ПРОЗА

От составителей

Книга посвящается 100-летию со дня рождения Романова Александра Александровича, учителя сельской школы, защитника русской земли, отца трех сыновей.

Старший из них, Александр, пошел по его стопам и стал журналистом, поэтом, выдающимся писателем, “писцом” родной земли. Ему в 2005 году, в 60-ю годовщину Победы исполнилось бы 75 лет.

В книге представлены размышления Александра Романова в стихах и прозе о сыновьем долге перед старшим поколением. О “сторожевом луче совести”, пробуждающем в нас память об ушедших, но близких нам людях. О тяжком, изнуряющем труде родителей и сверстников на фронте и в тылу в годы войны.

О трудном подвиге ради светлой победы.

О долгой памяти и верности родному дому.

НАД ВСЕМИ
ВОЙНАМИ
ВЗМЕТЬСЯ,
ВСЕМИРНЫЙ
СВЕТ ПОБЕДЫ!





СТОРОЖЕВОЙ ЛУЧ

*Спать не могу. Лежу расстроясь.
Недвижна ночь над головой.
И в глубине сознания – совесть,
Как будто луч сторожевой.
Откуда он? В окошках звёзды.
Их блеск тревожен и могуч.
Но в этот час, глухой и поздний,
Нет, не от них щемящий луч.
Он жгуч. Он будто откровенье.
Он просекает толщи лет.
И чем обиднее забвенье,
Тем сокрушительнее свет.
Из рваной памяти, из боли,
Из мглы ошибочных дорог,
Из дел, которых не исполнил,
Из слов, каких сказать не смог.
Из полуправды, ставшей в горечь,
Из встреч, растрёпанных уже.
Всеочищающая совесть,
Как жизни весть, горит в душе.*

«ЛИШЬ ПАМЯТЬ ЗАТРОНЕШЬ...»

Как хорошо начиналось лето 1941 года для Саши Романова! 18 июня ему исполнилось 11 лет, впереди целое лето: поездки с отцом на рыбалку, грибы и ягоды в лесу, купание в любимой Двинице... А осенью, как всегда, будут совместные именины с отцом в день Александра Невского, потому что отца зовут тоже Александром, ему уже исполнится 36 лет.

Но... 22 июня началась война. Казалось бы, далека лесная деревушка Петряево от Германии, но и она словно «качнулась с пригорка», когда «снаряды немецкой стали где-то ухнули подо Львовом». Поскакали нарочные, разнося повестки, и, собрав холщовые мешки с домашним хлебом и бельём, «мужики по жаркой дороге уходили в морозное лето». Так ушёл на войну отец троих детей, сельский учитель литературы Романов Александр Александрович, не зная, что уходит навсегда из родной деревни, что не увидит больше ни жену, ни сыновей. И никогда уже в доме Романовых не будет совместных именин двух Александров. Конечно, он и думать не мог, что вскоре в его родном доме на стене повесят его портрет в военной форме, перед которым будет плакать и молиться его молодая вдова, постепенно стареющая от горя и слёз. А он проходил обычный воинский путь солдата, младшего лейтенанта, лейтенанта. Воевал под Новгородом и Ленинградом, был дважды ранен, лежал в госпиталях, а погиб на Карельском фронте 4 июля 1944 года, не дожив до 39 лет.

Старший сын Александр взял на себя все отцовские заботы о доме, о матери, о младших братьях и на всю жизнь сохранил благодарную память об отце. В образовании он полностью пошёл по стопам отца, который до войны закончил заочно Вологодское педучилище и учительский институт. Саша тоже закончил педучилище (1945-1948 г.г.), потом педагогический институт (1948-1952 г.г.), но не стал учителем

литературы, как отец, а стал журналистом и писателем.

В 1957 году, когда Саше было 27 лет, он пишет первое стихотворение о войне: «Дума об отце».

Чем дальше горестное лето,
Тем ярче в памяти моей...

Вот, вот эта причина, почему он так много напишет об отце, о войне. С возрастом он будто ярче увидит последний день перед войной, минуты прощания, услышит негромкий голос отца. В этом же стихотворении впервые прозвучит мысль об ответственности перед отцом.

И если в чём-нибудь немного
Я покривлю в душе своей,
Невольно вспомню, как бы строго
Отец взглянул из-под бровей...
А если – даже в малом деле –
Стою за правду до конца –
Представлю, как бы потеплели
Глаза суровые отца.

Вот ведь как получается! Отца давно уже нет на свете, и детство, и юность прошли без него, но он на всю жизнь остался примером, у сына постоянно появлялось желание сверять себя с отцом, быть достойным его памяти и всю жизнь чувствовать себя в долгу перед павшим.

С фотографий на стенах деревенских домов внимательно и строго смотрели отцы на своих взрослеющих сыновей.

И как достойно надо
Нам жить, любить, гореть,
Чтоб самым чистым взглядом
В глаза им посмотреть.

«Ровеснику», 1958 г.

Но самую большую, самую светлую, самую горькую и живую память об отце хранили его фронтовые треугольники, бережно расправленные, но всё ещё сохранившие линии, по которым их складывали на фронте. Вот я сейчас снова перебираю их, некоторые перечитываю, хотя многие строки помню наизусть, столько раз мы с Сашей читали их... Они бережно хранятся в отдельной папке с материалами из архива о военной судьбе отца, с кошельком, в котором лежат несколько гильз от патронов, поднятых сыном в местах последних боёв стрелкового взвода под командой лейтенанта Романа Александра Александровича.

В 1961 году, через двадцать лет с начала войны, в стихотворении «Отцовские письма» сын опишет своё странное состояние, когда найдёт их в ящике деревенского стола, и покажется, будто шли они двадцать лет к нему. Он хорошо помнит, что когда-то читал их вместе с матерью, но сейчас читает словно другими глазами. Он теперь стал старше, ему уже 31 год. Тогда, мальчиком, он никак не мог думать, что «отец споткнётся где-то, упадёт посреди войны...», что от него останутся только письма. И вот он снова и снова перечитывает их, а там, из письма в письмо без конца: «Не горюйте, крепитесь, верьте». Если сообщает о ранении, то пишет: «царапнуло, лечусь, скоро снова на фронт, пишу раненой рукой хорошо». И без конца озабоченно спрашивает, как дома «бьются с хлебом и дровами». И по его вопросам можно подумать, «будто не он – мы в огне и дыме». И сердце сына переполняет запоздалое понимание, что отец хотел спасти их от тревоги за себя, от лишней боли, понимая, как трудно в деревне его жене с тремя сыновьями. Когда он уходил на фронт, старшему Шуру было 11 лет, среднему Паше семь, а младшему Лёве – два года. Вся надежда на старшего. И многие письма адресованы лично ему, помощнику, надежде.

«Дорогой сын Шура, прошу простить меня за то, что

я, получая от тебя письма, до сих пор лично тебе не писал. Я твои письма, дорогой Шурик, перечитываю по нескольку раз и горжусь тобой, что ты уже стал большим, не забываешь тятю, часто пишешь письма и пишешь толково, хорошо, хотя иногда и допускаешь ошибки. Если не знаешь, как писать слово, загляни в орфографический словарь Ушакова. У меня был. Посмотри в моих книгах, найдёшь его...»

И в каждом письме советы, советы, советы, как помочь маме по дому, как заботиться о младших братьях, как готовить картофель к посадке, вырезая глазки, как узнать, живы ли пчёлы в подвале зимой. Саша посылал ему на фронт стихи, и отец давал советы, как работать над рифмой и ритмом, потому что сам тоже писал стихи.

Вновь перечитывались письма отца, чтобы найти хоть какую-нибудь зацепку, где он похоронен. Найдётся оно, найдётся это братское захоронение, но случится это ещё не скоро. Пройдёт ещё больше двадцати лет, когда сын отправится в скорбную поездку под Выборг в район озера Ихинтала-Ярви.

А пока шло время, залечивались раны, нанесённые войной, и кое-кто уже стал забывать о павших, особенно, если речь шла не о родных. Вот тогда и появится у Александра Романова чувство тревоги за живущих, которые своим беспомощством убивают погибших во второй раз. В маленькой поэме «Тревога» (1964 г.) рассказывается о деревенском подростке Ваське, которого война раньше времени сделала Василием. Когда пришла пора ему идти на войну, провожали Василия всей деревней. А спустя годы: «Тихомиров? Васька? Не вспомню...» Кончается поэма такими пронзительными словами, которые призывают помнить всех, кто своей жизнью заплатил за Победу.

Умирают солдаты дважды –
От штыка или пули вражьей

И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих.
Только сердце не примирится
И не будет с этим согласно.
Мне которую ночь не спится...
Встань в стихах, Тихомиров Вася!

Эта маленькая поэма заставила многих читателей вспомнить, какой ценой завоёвано счастье мирного житья. Во время встречи с читателями Саша часто читал эту поэму. В его архиве среди писем лежит сложенный вчетверо листок бумаги с надписью «Поэту». Радиожурналист Михаил Воробьёв из Ленинграда пишет: «В январе 1943 года я десятиклассником во время зимних каникул уходил из Шуйского, как Ваш Васька Тихомиров, с котомкой на войну. Слушал Вас, и казалось, что эти стихи про меня, 17-летнего паренька – нас 35 междуреченских парней шли пешком до Вологды. На всю жизнь запомнилось, как провожали нас бабы и девчонки. Хлеба не было, совали тоже махорку. И, как у Вашего героя, не было у меня ни отца, ни матери. Мало нас вернулось из того пекла...»

Пусть, пусть звучит эта «Тревога»! Пусть вспоминают тех, кто погиб, защищая нашу Родину, давая возможность живущим поклониться памяти павших! Шли годы, а память вновь и вновь возвращала к последнему мирному дню перед войной. Через 25 лет с начала войны появляется у А. Романова стихотворение «21 июня 1941 года» (1966 г.).

Война! Мы помним это, помним.
Вот он сейчас передо мной
Такой доверчивый, зелёный
Последний день перед войной.

Каким же вернула память этот день? Я помню, что когда Саша впервые читал это стихотворение, у него пе-

рехватывало горло от волнения. Не знаю, поймут ли нынешние читатели переживания нас, подростков военной поры? Я и сейчас, читая строки этого стихотворения, так ясно вижу перед глазами этот день.

Зелёное и голубое
Теплом провеяно насквозь,
Исходит светом – глянуть больно –
На деревенских крышах тёс.
И жизнь обычная, как солнце,
Как небо и трава кругом.

Среди этого ослепительного света обычные для деревенской жизни звуки. То «просверкнёт и отзовется с колодца радостным ведром», то «рассмешит мальчонкой малым, бегущим просто голышом в траву, в кусты, куда попало – везде тепло и хорошо».

Никто не чувствует, что идут последние минуты, особые минуты последнего мирного дня перед войной.

В этом стихотворении нет описаний ужасов войны, страшных потерь, просто напоминание, что «этот день уже давно сгорел за красным перевалом». Но люди помнят этот горестный канун, они каждый год собираются в этот день вместе, молчат, и «взгляды их горьки».

И будто нерв, задетый сильно,
Пронзает мысль: Зачем война?

Кончается стихотворение почти такими же словами, какими начиналось, но звучат они не так радостно и светло, а очень тревожно за хрупкость этой светлой жизни.

Зелёное и голубое
Теплом провеяно насквозь.
И так сияют – глянуть больно –
И крыши, и стволы берёз.

Многие стихи о войне связаны с личными переживаниями поэта Романова: расставание с отцом, перечитывание его писем с фронта, сопереживание матери–вдове. Но многое он услышал и от своих односельчан, своих старших родственников. Воевали на фронте братья матери, воевал старший брат отца, Романов Василий Александрович. Многие вечера беседовал с ним Саша, приезжая в родную деревню. В 1972 году он напишет большую поэму о крестьянской жизни «Чёрный хлеб». Герой поэмы, точнее, рассказчик – простой колхозник, бывший солдат-артиллерист, прошедший со своей пушкой почти по одним и тем же местам в гражданскую и Отечественную войну, участник боёв за Сталинград, дошедший до Берлина. В этой поэме есть глава «О войне».

У старика свои счёты с войной:

Железом дважды я обласкан,
А это значит что-нибудь,
В плечо попало на гражданской,
А на Отечественной – в грудь.
Когда умрём, в могиле долго
Без тленья будем мы лежать.
Лишь по невынутым осколкам
Пойдёт – само собою – ржавь.
Нас крепко жизни обучала
Война – добром не помянуть!
Война – так в грудь свинец сначала,
Потом лишь – золото на грудь.

Но не про себя рассказывает бывший солдат, а о том, как после войны однажды в мае сошлись со всей округи мужики – как будто все фронты в одной избе. Повспоминали павших, «как будто встали с ними вровень, и горько было – мочи нет». Хотели было справиться с горем пляской под гармонь. Показалось даже, «годиков по тридцать» смахнули с себя. Но не принесла радости эта пляска, потому что один

из мужиков, вдруг вспомнив погибшего брата, стал кружиться на одной ноге, теребя рубаху на груди и крича: «Эх, Колька, Колька! А я хоть топну за тебя!...»

Стонало горе в половицах,
Стонало горе в потолке.

.....
Ну, а гармонья так играла,
Так пела, чуть ли не рвалась.
И хоть народ сидел бывалый,
Но слёзы вышибло из глаз.
Добро, что бабы не видали...
Вот что такое, брат, война.
А ты мне – что-то про медали,
А ты мне тут – про ордена.

Вот опять у меня сомнения! Переживания старого солдата–артиллериста, может быть, не всех и взволнуют, как не взволнуют переживания взрослого сына, узнавшего вдруг, что нашёлся очевидец, знавший отца и ставший свидетелем его гибели. Об этом А. Романов напишет небольшую поэму «Очевидец» в 1975 году, к тридцатилетию Победы.

С каким трепетом и жалостью сын держал при встрече руки старика, «те руки, что касались в последний раз отца». В глазах старика «каменно зажата ожившая тоска», в горле – словно «железка к дыханию впритык». Несколько раз он останавливается, не в силах продолжать рассказ, глядя памятью на мёртвых однополчан.

Всего страшнее небо
Солдату на войне.
Ползёшь – укрыться где бы?
Но небо – на спине.

В этом страшном бою погиб и командир взвода, успешный написать на листке перед смертью лишь «Здравствуйте,

родные...» Во время разговора выясняется, что случилось это в 1942 году под Тихвином. А в Сашиной семье хранилась похоронка, извещавшая, что отец погиб в 1944 году, да и письмо последнее от него было от 15 июня 44 года. Погибший взводный оказался не отцом поэта, но слился с ним в один образ.

А мой – опять в безвестье.
И тяжелей вдвойне.
Теперь два лика вместе
Уже живут во мне.
Во всём судьбою схожи
И в подвиге равны,
Сливаются тревожно
В единый лик они.

Встреча со старым фронтовиком, его рассказ о своих однополчанах, о гибели взводного заставили задуматься:

Как жить и вечно помнить,
Как надо встретить смерть.
И боль, и страх приемля,
И всё, чему уж быть,
Но пуше жизни землю
Родимую любить...

С годами не проходило горькое чувство, что до сих пор не найдено место гибели отца. Так хотелось постоять у его могилы, мысленно поговорить с ним. С возрастом накопилось столько вопросов: «о колхозах, о войне, о государстве, о себе».

И все ответы, все слова,
Отцом не сказанные мне,
Лишь шепчет скорбная трава
И то – в далёкой стороне.

«Несказанные слова». 1975 г.

В деревенском доме на стене висит увеличенный портрет отца в военной форме. Для его жены, Романовой Александры Ивановны, оставшейся в 36 лет вдовой, он настолько живой, что она часто останавливается перед портретом, шепчет что-то и плачет, плачет... В 1981 году Саша пишет стихотворение «Мать перед портретом отца», в котором перед читателями возникает горькая жизненная сцена, обычная и почти неправдоподобная до ужаса. Старая женщина, глядя на портрет молодого мужа, просит поговорить с ней, напоминая, что она, старуха, – жена ему, да и он – «давненько дед». Спрашивает мужа, узнал ли он своих выросших детей, предлагает порадоваться за них и успокаивает мужа, что исполнила его наказ – воспитала добрых сыновей.

Это стихотворение прозвучало в выступлении А. Романова в «Поэтической тетради» по всесоюзному радио и вызвало много добрых отзывов. Библиотекарь Тарашенской районной библиотеки Василина Ивановна Маковецкая пишет: «Очень просим Вас, вышлите нам немедленно это стихотворение, чтобы оно у нас прозвучало, когда мы будем отмечать 36 годовщину Победы. Будьте так добры, не посчитайте за труд, сделайте для нас это одолжение». По этому письму видно, как понимают люди роль женщин, оставшихся в войну дома с детьми, вырастивших детей достойными памяти отцов. Они, эти женщины-труженицы, тоже приближали Победу!

А старшему сыну погибшего лейтенанта Романова Александра Александровича не давало покоя чувство неисполненного долга перед отцом. Сколько бы он ни искал по картам, нигде не мог найти этого странно звучащего названия озера Ихинтала-Ярви. И в голову не могло прийти, что все финские названия оказались переименованными!

О том, как удалось найти место последнего боя стрелкового взвода, где командиром был лейтенант Романов, сын его опишет в очерке «Отцовское озеро» и в поэме «Отец». А

о том, как шли эти поиски, рассказывают записи в записной книжке о поездке осенью 1984 г. к братским захоронениям под Выборг. Сначала, конечно, было очередное обращение в Вологодский и Выборгский военкоматы. В ответе вологодского военкома А. Преснухина от 4 мая 1984 г. указывалось, что захоронен лейтенант А.А. Романов в братской могиле № 33, расположенной на 4 км шоссе Выборг – Ленинград. И на этой справке Сашиной рукой сделана горькая приписка: «Ошибочный путь! Был я там, но отец погиб и похоронен (если вообще похоронен?) в другом месте. Держать надо путь к Ихинталу, т.е. (оказывается) озеру Петровскому, переименованному нами...»

Чтобы попасть к озеру Петровскому, потребовалась справка от Выборгского военкомата, что он, Романов Александр Александрович, «... действительно следует на братскую могилу № 6, которая находится в посёлке Овсово Гвардейского с/с. Справка действительна в течение 3 дней».

Вот эти три дня октября 1984 года и описаны в записной книжке. Не сразу и здесь удалось найти то место, что так давно искал. 16 октября он посещает одно из братских захоронений и описывает его вид.

«На высоком постаменте фигура молодого солдата (из тёмного, даже чёрного материала – гранит?). Никакой надписи на пьедестале нет. По сторонам – ровные прямоугольники могил, на которых растёт какой-то низкий декоративный кустарник, ровный, густой, с маленькими листочками и с мелкими кроваво-красными ягодами, похожими на плоды шиповника. От этих ягод на могилах кажется красно, словно все веточки обрызганы каплями крови. Горестный вид! Далее, в сторону Ленинграда, как завершение этого длинного ряда прямоугольных могил, насыпан курган, невысокий, но обширный, обрамлённый зелёной стеной декоративного кустарника. Но ягод на нём нет. Этот кустарник ровно под-

стрижен, зелёный, с прожелтью и плотный. На кургане – в центре – огромный чугунный венок, на котором золотыми буквами написано «1941–1945. Вечная слава героям». На этот курган к венку ведут серые гранитные ступени. Возле венка и на самом венке принесённые кем-то гвоздики. В десяти–двадцати шагах от могил, за стройным рядком довольно высоких елей, начинается болотный сосняк вперемешку с берёзками, которые почему-то кажутся не белыми, а серыми (может, от погоды такими казались?). Под ногами сыро, хлюпает вода. Зелёный мох кочками. Кое-где виден голубичник, брусничник. Словом, болото, похожее на наше, Ивановское болото. Надо мной птичка серенькая, грудка беленькая, клюёт что-то на сосновых ветках. Птичек много, чуть различимо цвилькают, а с шоссе доносится беспрерывный гул машин. Думаю, что могилы слишком близко к дороге расположены. Трудно здесь сидеть и думать. Но в которой же здесь могиле лежит мой отец? Уже никогда не узнать».

На этом запись от 16 октября 1984 года кончается. Правда, есть приписка: «Названия озёр знает рыбная инспекция!» 17 октября он уже в другом месте. В Гвардейском. Записывает: «Горы! Скалы! Берёзы, сосняк. Вот тут на хуторе познакомился с семьёй лесника Дмитрия Михайловича Михайлова. Здесь всё Михайловское: Михайловское озеро, Михайловский лес, Михайловский поворот... 4 сына».

Вот от Михайловых и удаётся узнать, что в 15-16 километрах от Выборга есть памятник на братском захоронении, где похоронены 4 тысячи человек. Далее следует подробная и самая горькая запись от 18 октября. «Вот приехал почти к месту гибели отца. Десятый километр, до озера 5-6 км».

В записной книжке рисунок этого озера и слова: «Вот! Вот то, что я искал!!!»

Вот братская могила – 4 тысячи человек. Ищет на могильных плитах фамилию Романов, находит 7 однофа-

мильцев отца, но Романова А.А. нет между ними. Можно представить чувство горького разочарования! Молча вчитывается в гордые строки на мемориале.

Есть у Отчизны каменные книги
Печали вечной и бессмертной славы.
Одну из них, гранитную, прочти.
Имён здесь много, много безымянных.
Их путь земной недолог был, но ярок.
Они погибли, победив!

Так бы, наверное, и уехал обратно домой к ожидавшей матери старший сын, не найдя имени своего отца на мемориальной плите. Но кругом было столько отзывчивых людей! Записная книжка переполнена фамилиями и адресами тех, кто помогал в розыске. Больше всех этим делом занимался сотрудник Выборгского военкомата Артемьев Александр Николаевич. Он изучил все документы и стал добиваться, чтобы «справедливость восторжествовала», как он выразился в письме. Он не только получил разрешение на право внесения на мемориальную доску на братском захоронении «Петровка М-30» фамилии, имени и отчества лейтенанта Романова, но и сам вызвал гравёра, дал ему задание, а потом лично съездил, чтобы удостовериться, что всё в порядке. «Посылаю Вам снимок с мемориального памятника погибшим воинам за освобождение советской земли и захороненным в посёлке Петровское», – сообщил он в письме. На обратной стороне полученной фотографии Саша нарисовал православный крест и написал: «Мемориал Петровское (возле озера Ихантала, ныне Петровское), где, видимо, похоронен отец...»

Поездка была осенью 1984 года, а в феврале-апреле 1985 появилась поэма «Отец», опубликованная в газете «Красный Север» 5 мая 1985 года, к 40-летию Победы. В эти же торжественные дни три брата Романовы (Александр, Павел,

Лев) и наш средний сын Сергей едут в Выборг, потом на мемориал Петровка, чтобы поклониться памяти отца.

Более подробно о военной службе отца, о последних боях стрелковой дивизии, где он служил, сыновья погибшего лейтенанта Романова А.А. узнали из материалов, собранных в архивах Советской армии в г. Подольске их земляком, полковником Базановым Николаем Ивановичем. Целую папку материалов прислал он, с выписками, донесениями, схемами, сделанными с военной точностью.

Вот из этих материалов и узнала семья, как проходили последние месяцы жизни дорогого для них человека. Он был ранен в боях по прорыву блокады Ленинграда. После лечения в госпитале прибывает в 462 стрелковый полк 29 мая 1944, а 1 июля по полку было объявлено боевое распоряжение по овладению рокадной дорогой Кавант-Сари – Ихантала. Полк наступал, противник яростно сопротивлялся. 3 июля в 5 часов 30 минут подразделения полка начали наступление. Но наш артиллерийский огонь был мало эффективен. Усиленные стрелковые роты, развивая успех штурмовых групп, закрепились на высоте, но понесли большие потери. В 8 ч. 30 минут усиленные стрелковые роты ворвались на опушку леса, затем отступили. 4 раза опушка переходила из рук в руки. С 20-00 до 22-00 3 июля подразделения полка дважды атаковали противника. Ночью полк закрепился на исходном положении.

На этом месте выписанного донесения Сашиной рукой сделана приписка: «Ох! Вот, вот! Тут и погиб мой отец. Наших просто расстреливали с высоты!.. Я бродил по этим местам и, плача, вживе представлял, под какой огонь попал он со своей штурмгруппой...»

Вот опять выписка из книги погребений офицерского состава 462 стрелкового полка 168 стрелковой дивизии за 1944 год: «командир 5 стрелковой роты лейтенант Романов А.А. погиб в районе Ихантала-Ярви 4-07-44 года. Похоронен в

братской могиле». Извещение об этом дома, в Петряеве, получили 7 августа 1944 года.

Н.И. Базанов послал и боевую характеристику командира миномётного взвода Романова А.А.

«... За время пребывания на указанной должности показал себя волевым, стойким, дисциплинированным командиром. Выполняет общественное поручение чтеца художественной литературы, ежедневно читает бойцам книги, журналы, как взводный редактор, выпускает боевые листки».

Н.И. Базанов пишет 21 апреля 1986 года трём сыновьям погибшего. «Хочу ещё раз заверить вас, дорогие братья, что мне доставило огромную радость, огромное удовлетворение ознакомление с биографией вашего отца, хотя и трагической, но несущей в себе огромный заряд оптимизма, гордости за честно прожитую жизнь, отданную за свободу нашей Родины.

Вам есть чем гордиться и воспитывать своих сыновей, внуков-правнуков на примере деда – отважного воина, хорошего семьянина, образованного человека».

К тому времени, как было получено это письмо, ещё была жива вдова, Романова Александра Ивановна, хотя жизнь её уже шла к концу. Она прожила без мужа 42 года, скончавшись 4 июня 1986 года. На её могилу положили горсть камешков, привезённых ей с места гибели мужа. А через год поставили памятник из белого мрамора, с большим трудом доставленного из Карелии. В поэме «Прощание с матерью» Александр Романов так скажет о её судьбе, похожей на судьбу многих русских женщин той поры.

Жизнь у неё переломилась
Ещё в войну. Да так остро,
Что в горе будто затворилась,
Ушла в суровое вдовство.
И отдала всю участь дому,
А сыновьям – любовь свою.

А силу – полюшку родному.
А верность – павшему в бою.

Эти слова из поэмы можно считать словесным памятником многим русским женщинам, солдаткам, вдовам.

Отечественная война 1941-1945 годов оставила глубокий след в поколении ровесников А. Романова, деревенских мальчишек, рано познавших тяжёлый труд. Но никакого сожаления не было в его воспоминаниях. Не до того было! Взвалив на себя непосильную работу, мальчишки надрывались, но зато непримиримо и конкретно представляли врагов своей Родины. И будущее видели только в одном – в Победе. «Патриотизм стал воздухом нашего отрочества, он вошёл в кровь на всю жизнь, – отвечал на вопрос корреспондента А. Романов. – Да, стремительное взросление моих одноклассников было от большой всенародной беды. Конечно, я не желаю, чтобы наши дети и внуки прошли через такую школу взросления. Горькая школа! Пусть не повторилась бы она никогда».

Да, внукам погибшего лейтенанта Романова Александра Александровича, доброго, скромного учителя литературы сельской семилетней школы, не пришлось воевать.

Но три наших сына честно отслужили свой срок военной службы. Старший и младший в Германии, средний на Алтае. Почти друг за другом, начиная с 1969 по 1979 год. Об этом – тревожные стихи отца: «Влетела, что сквозняк, повестка», «Враги опять о том же, о войне». Потом появится и поэма «Сыновья».

А дети среднего нашего сына Сергея проходили службу в Чечне и Дагестане, уже после смерти деда. Отслужили. Повидали всякого, о чём ни рассказывать, ни вспоминать не хочется. Это уже совсем другая война, не Отечественная.

Незадолго до своей скоропостижной смерти (5 мая 1999 года) А.А. Романов был приглашён для выступления перед учащимися 15-й школы. Это было 22 апреля. Оказалось,

что оно стало его последним выступлением перед читателями. Учащиеся были очень внимательны, слушали заинтересованно и задавали много вопросов.

Один из них был о том, каким было военное поколение подростков. Даже предлагалось сравнить его с современной молодёжью. Возвращаясь памятью в военное время, А.А. Романов опять вспомнил похоронку, которая подкосила мать, а его, мальчишку, враз поставила в мужики. «Да, мы, деревенские мальчишки той поры, оказались настоящими трудягами. Уже умели пахать, и сенокосить, и во всех домашних делах помогать матерям... Вот так и утверждалась наша молодость. Теперь очень трудно сравнивать поколения: время другое. Но не думаю, что и нынешняя молодёжь вся такая, какую показывают по телевидению: орущую, снующую, жующую жвачку».

Пусть молодые будут счастливы в своей молодости, пусть веселятся, только бы помнили, какой ценой завоёвано мирное житьё.

Пусть не померкнет свет Победы!

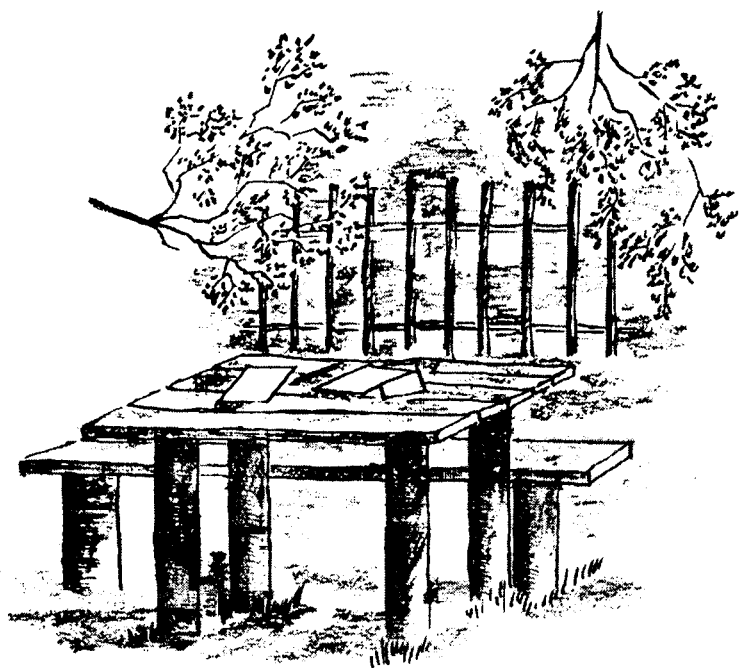
*Романова Анастасия Александровна.
Март-апрель 2004 года, Вологда.*

Привоз

Это было в деревне, которой нету,
Но в которую можно вглядеться,
Потому что деревня эта
Называется нашим детством.
Ветры теплые там разносили,
Чтобы людям радостно было,
Ветрами, в сумерках синих,
Фробный стук золотых молотилок.
И в кептонки картошки ранней
Накопав, сухой, розоватой,
За деревней в легком тумане
Веселили костёр ребята.
Это было счастьем, пожалуй,
Только кто понимал едва ли.
И картошкины с пилу да жару,
Как мячи, на ладонях летали.
Был один среди нас всех старше,
Всех бойлей Тихомиров Васяка.

... Вот с приятелем мы в деревне.
Вспоминаем давнее время.
Воружь заминка, и слышу с болью:
Тихомиров! Васяка! Не помню...
"Умирают солдаты дважы:
От штыка или пули вражьи
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих
Только сердце не примирится
И не будет с этим согласо.
Мне которую ночь не спится
Встань, в стихох, Тихомиров Вася!"

21-27/X-64 А.В.М.,



СТУДУ

ДУМА ОБ ОТЦЕ

1

Чем дальше горестное лето,
Тем ярче в памяти моей.
В шинель неловкую одетый
Сидит отец возле дверей.

А на скамье лежит котомка
С домашним хлебом и бельём.
И говорит отец негромко:
— Не надо плакать, мы придём.

Потом встаёт и медлит снова.
Видать, в родном дому порог
Для человека в час суровый
Нередко кажется высок.

И больше нет воспоминаний.
И лишь известие одно,
Что каждой строчкой душу ранит,
Среди бумаг лежит давно.

Но мы о горьком том известье
Между собой не говорим:
Отец как будто с нами вместе,
И мы как будто вместе с ним.

И если в чём-нибудь немного
Я покривлю душой своей,
Невольно вспомню, как бы строго
Отец взглянул из-под бровей.

А если — даже в малом деле —
Стою за правду до конца,
Представляю, как бы потеплели
Глаза суровые отца.

Уснут в дому мои соседи,
И в полуночной тишине
Веду я мысленно беседы
С моим отцом наедине.

Закрыв глаза, я различаю:
Он в гимнастерке, со звездой,
Сидит с усталыми плечами
И вспоминает первый бой.

... Я будто слышу, как зловеще
Чужие мины без конца
То тут, то там в болото хлещут,
Где был замечен взвод отца.

А взвод ползёт меж кочек шатких,
По мхам, разводьям ледяным.
И звёзды красные на шапках
Пороховой овеял дым.

И сколько их, пятиконечных,
Навеки меркнет в топи той.
Но взвод ползёт врагу навстречу,
Чтоб смять его, смешать с землёй.

И в этот час, одно лишь зная,
Что здесь, что именно вот здесь
Россия вся передним краем
Упёрлась в опалённый лес, —

Ползут вперёд солдаты злее,
Ни жизнь, ни молодость свою —
Ничто на свете не жалея,
Лишь только б устоять в бою!

... Рассвет в окне синее льдины.
Очнувшись вдруг от забытья,
Смотрю вокруг — сижу один я,
Во сне вздыхают сыновья.

Встаю, раздумьями встревожен:
Ведь и у тех, спасавших нас,
Вот так наследники бы тоже
Росли, наверное, сейчас.

И даже все мои удачи
С делами павших не сравню —
Мои дела так мало значат,
И в этом вновь себя виню.

И до конца с такой тревогой
Расстаться, видно, не смогу.
И видно, быть у них во многом
Всю жизнь в долгу, всю жизнь в долгу!

3

Уже давно я не был дома
И не стоял возле рябин.
И вот по просеке знакомой
Иду туда совсем один.

И вижу — что это такое? —
Ах, да — висит передо мной
Как бы мишень на тёмной хвое —
Из паутины круг седой.

И сразу я о давнем вспомнил:
С отцом таким же свежим днём,
Такой же просекою с полной
Корзинсй рыжиков идём.

Глядим — на ветке паутина
Дрожит, росой окроплена.
С кругами серыми в середине —
Ну точно как мишень она.

И говорит отец: «А ну-ка,
Ты попадёшь ли в этот круг?»
И в десяти шагах от круга
Я поднимаю тонкий сук.

И целюсь я, но сук мой мимо
Летит и падает в кусты.
С улыбкой, еле уловимой,
Мне говорит отец: «Эх, ты!..»

Кусая губы от досады,
Бросаю много раз подряд.
Отец стоит и курит рядом,
Моей настойчивости рад.

...Пустяк, а вот припомнил это,
И стало на сердце теплей.
Видать, с того хранится лета
Тепло и свет в душе моей.

И мысль мелькнула на минуту,
Не прояснившись до конца,
Что вот уже я сам как будто
Похож немного на отца.

А чем? Походкою, быть может,
Иль тёмной линией бровей?
Не знаю. Думаю, похожи
Одной судьбой всего скорей.

Всё те же дальние дороги
И неотложные дела,

Всё те же на сердце тревоги,
Чтоб жизнь как следует прошла.

1957 г.



СОЛДАТ

В высоком звании солдата
Прошёл он до конца войны.
Лицо от пороха щербато,
И на руках рубцы видны.

Теперь он стар. В запас не годен.
И оттого, взгрустнув порой,
Он ищет карточку в комодке,
Ту, на которой молодой.

А там, завёрнуты в бумагу,
Полузабытые лежат
За Бухарест, Берлин и Прагу
Медали, что принёс солдат.

И вновь в огне душа солдата.
Стоит, впервые удивлён,
Что пол-Европы смог когда-то
Пройти не кто-нибудь, а он!

1958 г.



ГОРА

Его шутиливо, добродушно
Прозвали с малых лет Горой.
А был Гора совсем не дюжий,
И уж, конечно, не герой.
Но так привыкли звать Горою
Его в деревне стар и мал,
Что имя доброе порою
Иной не сразу вспоминал.
И он привык к такому зову
И откликался, не браня,
Когда его, немолодого,
Звала вот так и ребятня.
И то ль от скромности излишней,
А то ль от робости какой
Всех незаметнее и тише
Он был в бригаде полевой.
И если в чём-то был виновен
Иль бригадир, иль кто иной,
Поспорив, все сходились снова,
Мол, тут Гора всему виной.
А он, к таким привыкший шуткам,
С улыбкой доставал кисет.
Трещала жарко самокрутка
На эту реплику в ответ.
И вот однажды в полдень жаркий,
В пятиминутный перерыв
Гора газетку для сигарки
Достал, карманы перерыв.

Достал и охнул над газетой,
Качая лысой головой.
Народ заметил сразу это:
— Гора, послушай, что с тобой?
— Да тут вот пишут о Берлине...
Меня там ранило тогда.
Добро отстраивают ныне,
А был — так посмотреть беда... —
И потянулось к той газетке
Нетерпеливых рук кольцо
И люди с выраженьем редким
Взглянули в светлое лицо.
И праздник вспомнили весенний:
При орденах, немножко пьян,
Ходил Гора среди веселья...
И, вспомнив, молча рядом сели:
— Давай, закурим-ка, Иван!

1958 г.

РОВЕСНИКУ

Уже теперь мы сами —
Подумай, друг, сочти —
С погибшими отцами
Ровесники почти,
И снимки фронтовые
Их молодость хранят.
Какие молодые
Они на нас глядят!
Глядят с альбомов старых,
С простенков избяных,
С полотен, с пьедесталов
Да книжек фронтовых.
По всей стране огромной
Который год подряд
Внимательно и скромно
Они на нас глядят.
И как достойно надо
Нам жить, любить, гореть,
Чтоб самым чистым взглядом
В глаза им посмотреть.

1958 г.

Я нашёл в деревенском столе
Письма старые, фронтовые.
Будто шли они двадцать лет,
И сейчас получил впервые.
Я когда-то, конечно, читал
Эти очень нежные письма,
Но тогда был и глуп, и мал,
И не мог такого помыслить,
Что останутся только они,
Что отец споткнётся где-то,
Упадёт посреди войны
И его никогда не встретить.
Фронтовые письма отца —
Треугольники, без конвертов.
Из письма в письмо без конца:
«Не горюйте, крепитесь, верьте...»
Можно было подумать о том,
Что не он — мы в огне и дыме.
А у нас был всё-таки дом,
Был и хлебушко, правда, единый.
Про себя он писал чуть-чуть,
Как всегда, писал, между прочим.
То — «здоров», то — «опять лечусь,
Царапнуло, да только не очень...».
До чего же скупы слова
И значительны многоточья.
Как мне хочется расшифровать
Всё, что сказано между прочим!
Нет, потеряны все пути.
Он, шагавший от боя к бою,

Нас не только хотел спасти —
Защитить и от лишней боли.

1961 г.

мн. в. мешков и получил хлеб Кармен...
идею настальной поездки в загораду и само
дела больше Кармен, олади. Тупилева и рд
Бома Шурин, Таня. Тупилева и рд
1-2 Клар шурин Кармен, рд...
ма - наследит...
ра осе...
в ратама не талие дано, но и в ко...
нею, что б рн...
линей хлеба. Основное берем все
здоровы и берем здоровы детей.
Здоровы - кр...
нет здоровы - много не надо!
Делю я с морта...
да...
Вологодская
об. Талковск...
район № Вородско
дер. Петрово
Романовы Александр
Иванович
Полевая почта 37596
Романов Александр
Клара Шурин на...
Таня Шурин...
Тупилева...
Кармен Шурин...
Иванович...
Александр...
15.06.61

Судьба не сладкая – вдовья,
На праздники не красна,
А понедельников вдоволь
Для матери припасла.
Мать сеяла хлеб и жала,
Не думала о себе:
Одна осталась большая,
Все маленькие в избе.
...Какие года пережили!
И шутит грустно она:
«Теперь все стали большими,
А маленькой – я одна...»

1963 г.



21 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Зелёное и голубое
Теплом провеяно насквозь.
Исходит светом — глянуть больно
На деревенских крышах тёс.
И жизнь обычная, как солнце,
Как небо и трава кругом,
То просверкнёт и отзовется
С колодца радостным ведром.
То озарит на миг из кухонь
Улыбкой женской широко,
То опанёт горячим духом
Величественных пирогов,
То рассмешит мальчонкой малым,
Бегущим просто голышом
В траву, в кусты, куда попало —
Везде тепло и хорошо!
И никого, хотя бы смутно,
Не колет в сердце, что идут
Уже особые минуты,
И меньше, меньше тех минут.
А мужики возле колодца
Скликают баб на сенокос
И, ожидая, как ведётся,
Толкуют в шутку и всерьёз
О молодухках и попутно
О жёнах собственных, о том...
Но тут последняя минута
Обрушивает чёрный гром!
Война!.. Мы помним это, помним.
Вот он сейчас передо мной,

Такой доверчивый, зелёный,
Последний день перед войной.
Когда б заране обозначен
Он был, то каждый бы из нас,
Конечно, жил мудрей, иначе,
Чтоб не казниться в горький час.
Увы! Такого не бывало.
И этот день уже давно
Сгорел за красным перевалом,
Но всё равно, но всё равно
Лишь календарь приблизит время,
Смотрю: седые старики
Июньским вечером в деревне
Сидят, и взгляды их горьки.
И женщины, седые тоже,
Сойдутся где-нибудь к окну.
Их никому нельзя тревожить
Вот в этот горестный канун.
Я чувствую, как у России
Душа опять напряжена,
И, будто нерв, задетый сильно,
Пронзает мысль: зачем война?..
Зелёное и голубое
Теплом провеяно насквозь,
И так сияют — глянуть больно —
И крыши, и стволы берёз.

1966 г.

Было: хромки души жгли,
Ребята пели, топали.
Прощаться девки шли,
Ревели горько во поле.
То чужая сторона —
Пути не добровольные,
То ученье, то война...
Прощайте, дроли-воины...
И про давнюю тоску
Теперь лишь песню спрашивать:
«По зелёному лужку
С сударушкой не хаживать».

1967 г.



О ВОЙНЕ

(Глава из поэмы «Чёрный хлеб»)

Железом дважды я обласкан,
А это стоит что-нибудь,
В плечо попало на гражданской,
А на Отечественной — в грудь.
Когда умрём, в могилах долго
Без тленья будем мы лежать.
Лишь по невынутым осколкам
Пойдет — само собою — ржавь.
Нас крепко жизни обучала
Война — добром не помянуть!
Война — так в грудь свинец сначала,
Потом лишь — золото на грудь.
Да что о том, лишь сердце маять.
А расскажу я о другом,
Как мы со всей округи в мае
Сошлись, солдаты, за столом.
День выпал чистый, но холодный,
И потому сошлись в избе,
Хоть не родня совсем, а вроде
Все — братья кровные тебе.
Смеёмся, шутим друг над дружкой:
Ведь живы, хоть и мало нас.
И, как бывало раньше, — кружки,
Стаканы сдвинули зараз.
И потянуло к разговору
Про фронтовую нашу жизнь.
И знаешь, выяснилось вскоре,
Что все фронта в избе сошлись.
Я был на том, сосед — на этом,
А третий бился на другом,

Четвёртый — дальше за соседом,
А пятый — на море самом.
Как широка Россия наша
И в горе, знаешь, как любя!
Лишь за неё нам было страшно,
Совсем не страшно за себя.
Вот потому-то нас и мало...
Налили снова до полна:
За тех, кого недоставало,
Мы опрокинули до дна,
Как будто встали с ними вровень,
И горько было — мочи нет.
Но тут хозяйскою гармонью
Рванул во все меха сосед.
И отошло, и полегчало,
И снова в окнах рассвело.
И все задвигали плечами,
Как бы почувяли тепло.
И в круг широкий поманило.
Эх, знаешь ли, как надо жить:
На радость горя половину
Сумей всегда переложить!
И зашатались половицы,
И заскрипели сапоги,
Как будто годиков по тридцать
Смахнули с плеч фронтовики.
Как будто годиков по тридцать
И все ещё у главных дел.
Вдруг слышим: «Колька,
Колька, где ты?»
Взглянули: Буков захмелел.
Он до того сидел без звука.
Большой, что угол в том дому,

И видно, брата вспомнил Буков,
И стало брата жаль ему.
Он стол с посудой отодвинул,
В толпе рукой расчистил путь
И разогнул сухую спину —
Все мужики ему по грудь.
Он инвалид, нога не гнётся
В колене, ходит — что метёт.
А тут, глядим, на пляску рвётся
И ногу вытянул вперёд.
Все расступились.
Слышим только,
Как он, рубаху теребя,
Кричит одно: «Эх, Колька, Колька!
А я хоть топну за тебя...»
И начал топать да кружиться,
Да на одной-то всё ноге.
Стонало горе в половицах,
Стонало горе в потолке.
А та, которая не гнётся,
Нога торчала, словно жердь.
Смахнул бы всё,
Что подвернётся,
И было больно нам смотреть.
Ну а гармонья так играла,
Так пела, чуть ли не рвалась.
И хоть народ сидел бывалый,
Но слезы вышибло из глаз.
Добро, что бабы не видали...
Вот что такое, брат, война.
А ты мне — что-то про медали,
А ты мне тут — про ордена.

1972 г.

НЕСКАЗАННЫЕ СЛОВА

Мне эту думу век носить:
Отца теперь бы увидеть —
Уж я бы знал, о чём спросить,
Уж я бы знал, чего сказать.
Два мужика наедине,
Вели бы речь в родной избе
Мы о колхозах, о войне,
О государстве, о себе.
Не утаили б ничего,
Чужих не слыша подпевал.
Уж понимал бы я его,
Уж он меня бы понимал!..
Но слишком часто на Руси
Отцы по разным сторонам.
И нет возможности спросить
Отцов подросшим сыновьям.
И все ответы, все слова,
Отцом не сказанные мне,
Лишь шепчет скорбная трава,
И то — в далёкой стороне...

1975 г.

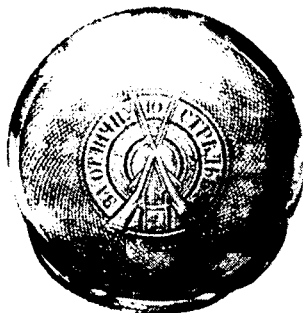
ЗАВЕЩАНИЕ

Памяти батько Василя

Он умирал... Что завещать?
Вещей совсем не нажил,
Хоть век свой думал о вещах,
Которых нет в продаже.
И всё ж хотелось по себе
Племяннику на память,
Что было дорого в судьбе,
Чего-нибудь оставить.
Рубанки, что ли, топоры?
Он их ценил, крестьянин.
Они исправны и добры. —
Вон весь верстак заставлен.
Но нет: племянник городской...
Скрестя бессильно руки,
Он этой думой, как тоской,
Свои усилил муки.
Лоб холодел, как от росы,
И сердце стало падать.
И вдруг он вспомнил про часы!
«Часы, — вздохнул, — на память.
С войны, — добавил, — мировой...»
И в полутени липкой
Вдруг осветился сам не свой
Далёкою улыбкой.
Часы — они кружком глухим
Забыто холодели
В мешочке, сшитом им самим
Из лоскутка шинели...

Я взял часы. Со скорбью взял...
Штрихами гравировки
На крышке врезаны в металл
Крест-накрест две винтовки.
А возле них по серебру —
Что пули, точки ровно
И «За отличную стрельбу»
Начертано сурово.
С трудом нашел я те слова,
Что тут необходимы.
Часы в руке, блеснув едва,
Затмились горьким дымом.
Старик у смертной полосы,
В безвыходной печали,
Затих и смолк... И лишь часы,
Одни часы стучали:
Они в тот миг огнем зажглись,
Толкнула тяжесть в спину,
Как будто прожитую жизнь
Старик к моей придвинул.
И всё моё, что он берёт:
Рубанки да ножовки,
Шинели серой лоскуток,
Крест-накрест две винтовки.

1975 г.



Всё думаю о тех, кто не пришёл
С полей войны. О, как они бы жили!
Невзгоды наши — меньшее из зол —
Они б в мешки солдатские сложили.
И, закружив своих невест и жён
От радости, о, как бы их любили!
И не один бы гений был рождён,
Но гениев тех на войне убили...

1980 г.



Июньский вечер тихий, тёплый.
Рябь золотистого пруда
Отражена игрою стёкол
В просторном доме, как тогда.
Уж сорок лет минуло, сорок!
Как в бликах трепетных отец
В нас поглядел — а взгляд был горек, —
Всех обнял, вышел и — исчез...
Сижу на лавке, на которой
Нас целовал в последний миг.
Стена — как жизни всей подпора,
Пазы — как строки древних книг.
И рябь колышется, трепещет
На потускневшем потолке,
И на часах с кукушкой вещей,
И на узорном рушнике.
Из дуновенья возникая,
Из дней, которых не забыл,
Как прикасанье, как сверканье,
Как гореванье чьих-то крыл.
Хочу узреть и различаю,
Но смутно так, не до конца,
Уже не горем, а печалью
И тень, и свет, и лик отца.

1981 г.

ПУЛЯ

На чёрные травы июля
За Псковом свалила отца
Вовек не прощённая пуля
Проклятого рыжего пса.
А после посмертной полоской
У нас пробелела в дому,
Ударила стужей сиротской
И мать опрокинула в тьму.
И нас обескрылила сразу,
Зелёных ещё сыновей...
Да это забудется разве,
Хоть скажется боль и слабей?
Нет! Срезав солдата прицельно,
Его лишь, — та пуля врзлёт
До третьего вплоть поколенья
В семье сквозняком достаёт.
Тоской, сединой караулит,
И время для пули — не щит.
И что б ни менялось, но пуля
Сквозь годы всё кровью сочит.

1975 г.



БАТЬКО ВАСИЛИЙ

От нашей деревни Берлин — ого!
Но батько Василий дошёл до него.
Скажут: Висла — с пушкой плыл,
Скажут: Дунай — пушку мыл,
Скажут: Шпрее — мылся сам...
Вернулся с войны — ружья не купил:
Зачем ружьё? Настрелялся там.
«Ну что же, — сказал, — утихла страда,
Но мы нигде не клонились ниц!»
В его биографию навсегда
Европа вошла с десятком столиц.
...В осанистом доме живёт давно,
В котором, как годы, к бревну бревно.
Топор у него — остряк, говорун,
Рубанок его — весельчак, певун,
Простая пила — девятнадцать струн!
С работы придёт и в тихом дому
Откроет окошко и пьёт чай.
И молодые приходят к нему
Поговорить, махрой почадить...
Клубит по Петряеву вялый туман,
И тёплая ночь наплывает опять.
Пора бы ребятам идти по домам
На воле, на сене с жёнами спать.
Но медлят: уж больно беседа добра.
Начнут о войне — туманится взгляд,
Начнут о ракетах — лица горят,
О Марсе начнут — не узнать ребят.
О чём ни начнут, то шутя, то всерьёз,
Как в песне припев, упомянут колхоз.

И батько Василий, оставив мёд,
Как будто итожит, рукой махнет:
«Я думаю так — я много прошёл, —
Что будет везде по-нашему власть...»
В его биографии небольшой
Размашистость века отозвалась.
Но это ему, старику, невдомек,
О жизни своей он нигде не писал.
Скажу ему так, он ответит: «Сынок,
Да это же всё ты придумал сам».

1962 г.

ПЕРЕД РЕЙХСТАГОМ

Я стою у ворот Бранденбургских,
Шум в висках — сердце мечется так:
Светом окон зашторенно-тусклых
За стеной громоздится рейхстаг.
Вот он, призрак паучий. Он рядом...
Резь в глазах. И я вижу в дыму,
Как мой дядька последним снарядом
Напрямик гвозданул по нему.
Он всадил, может, с этого места,
Где стою, свой последний снаряд
С полным правом и гнева, и мести,
Дядька мой, победитель-солдат!
И я вижу: в пыли он берлинской
Здесь вот, здесь, под смолкающий гул
В первый раз распрявился без риска
И глазами устало сверкнул...
Путь кровав у такого исхода —
Вал огня полземли искромсал.
Дядька с пушкой четыре шёл года,
Я летел лишь четыре часа.
...Люди, люди! Ваш чувствую локоть,
Хоть и разны у нас языки.
При раздоре — мы страшно далёки,
А при дружбе — отраднo близки!

1983 г.

Враги опять о том же,
о войне.

Крикливость их уму невыносима
И гневом отзывается во мне.
Дрожит эфир ночами, как трясина.
...А у меня три сына,
Смотрю на снимок фронтовой отца.
Давно могильный холм с полями вровень.
Но мать моя тоскует без конца,
И мы, три сына, тяжко хмурим брови.
...И у меня их трое.

А годы от отцов к сынам летят,
Из рук в их руки переходит сила.
Тревожен и горяч девичий взгляд,
Девичья стать, она всегда красива,
...А у меня три сына.
Путь каждого на белом свете нов,
Не повторится и в простом простое.
И родина зовёт своих сынов
Учиться жить и будущее строить.
...А у меня их трое.

Но вновь враги о том же,
о войне.

Крикливость их уму невыносима.
Но Разум жизни крепнет в тишине,
Но крепнет Долг,
но крепнет Братства сила —
У всей Земли три сына.

1977 г.

Влетела, что сквозняк, повестка —
И стало в доме холодней.
Тут посоветоваться не с кем,
Лишь только с совестью своей.
Всё стало близко, что далёко:
Я вспомнил, глядя сквозь лета,
Как тенью в солнечные окна
С пакетом нарочный влетал.
И мой отец с печалью строгой
Мать обнимал и говорил:
— Ну что же, мать, собирай в дорогу,
Суши в дорогу сухари...
Ах, как мы поздно понимаем,
Что тают, будто снег, года,
Что ожидаемое нами
Так неожиданно всегда!
Уже и сын мой вырос к сроку,
И нам не легче, чем другим.
Ну что же, собирай, жена, в дорогу,
Пеки для сына пироги...
А он идёт, как я, вразвалку,
Густые волосы — врассыпь.
И жалко мне — вот так, как жалко,
И гордо мне, что взрослый сын.
И знаю, что над домом каждым,
Лишь подойдёт его черёд,
Рассвет задумчивый однажды
С шинельным отблеском встаёт.
Дорога русской далью брезжит,
Трубит ветрами на лету
И там сливается, как прежде,
В одну железную черту.

1969 г.

МАТЬ ПЕРЕД ПОРТРЕТОМ ОТЦА

Вот плачу я, а ты молчишь...
Единственный в судьбе,
Порушь немую эту тишь.
Ведь я — жена тебе.
Ты — молодой, а я-то, я...
Старуха — погляди.
Вот навестили сыновья —
Растаяло в груди.
Давно семейные они,
И ты давненько дед.
Ну, хоть словечко оброни,
Ты их узнал иль нет.
Я твой исполнила наказ,
Все просьбы до одной.
Ребята добрые у нас —
Порадуйся со мной.
Вот станут в клубе выступать
На людях, на виду.
Сказали мне: «Пойдём-ка, мать».
Да я уж не дойду.
С тобой — так мне и час бы лих,
Мы сели б в средний ряд,
Чтобы слышать, что о них
Соседи говорят.
Но ты молчишь, но ты молчишь...
Единственный в судьбе,
Порушь немую эту тишь.
Ведь я — жена тебе.

НА СЕЛЬСКОМ КЛАДБИЩЕ

(Глава из поэмы «Пласты»)

Не шумите вы, машины, сбавьте скорости:
Здесь земля не роженица, а печальница.
Церковь древняя свечой белеет горестной
И с годами убывает, утончается.
Из камней да из белых так поставлена,
Что в полях, в лугах, в лесах сверкает бликами.
Здесь могила вековечного крестьянина —
Мужика, Солдата, Пахаря великого.
Уж ты, холм зелёный, холм, слезами вымытый,
Чем же изукрашен для великой почести?
Может, изукрашен плитами гранитными,
С этих плит сияешь именем да отчеством?
Может, ты увенчан благородным мрамором.
Чёрным, словно пашня, красным, что ранения,
И тревожишь сердце вырезанной траурно
Строчкой из молитвы иль стихотворения?
Только нет гранита, мрамора — тем более.
Ты увенчан снова, как ведётся исстари,
Лишь крестом еловым, резким, словно молния,
Крепко вбитым в землю, с каплями смолистыми.
На кресте янтарном краскою с подтёками
Имя, отчество, фамилия написаны —
Не рассчитано на памятник далёкое,
Не грешили люди против этой истины.
Так ещё при жизни было им повелено,
Так после кончины ими всё исполнено...
Уж ты, холм высокий, зеленеешь зелено
И печалишь сердце деревянной молнией.
Я кладу к могиле белую черёмуху,
Облачно густую вьюгу лепестковую,

И стакан вина я горько пью без роздыху,
Вновь стакан налитый ставлю к изголовью.
Думаю, склоняясь: «Вот пришёл я сызнова,
Только ты встречаешь в этот раз молчанием.
Может, ты и слышишь, да тебя не вызволить —
Руки повисают над землей в отчаяньи.
Ни умом, ни сердцем не понять бессилия.
Только от бессилья слёзы-то и катятся.
Замерзает слово на губах красивое,
Истинное слово опадает на сердце.
Только тем утешен, что тебя я видывал,
Слыхивал тебя я вечерами зимними.
Слово-то любил ты, смыслом плодovitое,
Дело-то любил ты, радостью отзывное.
Вот с холма смотрю я на поля российские,
Где туман свивает солнцу красну бороду, —
В них суровым плугом ты всю жизнь выискивал
В тьме борозд несметных золотую борозду.
На просёлки гляну, жёлтые, тягучие, —
Ими все деревни будто подпоясаны.
А тобой просёлки в шесть земель раскручены
И узлом солдатским там на память связаны.
На деревни гляну, дальние и ближние, —
В них студёный ветер по посадкам хаживал.
За топор ты брался — потому и выжили,
Положил всю силу — потому и зажили.
И твоим уходом всё пока пронизано:
Свет, земля, дороги, думы неотвязные.
Всё, что надо было высказать прижизненно,
Никогда не будет после смерти сказано.
Так у нас ведётся: только у надгробия,
Словно спохватившись в те часы последние,
Люди торопливо много скажут доброго,

Много, может, скажут, да не то, что следует.
Слов пустых и праздных мною не обронено,
И звучишь ты в сердце именем да отчеством.
Всех травой зелёной укрывает Родина,
С материнской скорбью,
с материнской почестью».

1979 г.





ПОЭМЫ

ТРЕВОГА

Это было в деревне, которой нету,
Но в которую можно взглядеться,
Потому что деревня эта
Называется нашим детством.
Ветры тёплые там разносили,
Чтобы людям радостно было,
Вечерами в сумерках синих
Дробный стук золотых молотилок.
И, в кепчонки картошки ранней
Накопав, сухой, розоватой,
За деревней в лёгком тумане
Веселили костёр ребята.
Это было счастьем, пожалуй,
Только кто понимал — едва ли.
И картошины с пылу да жару,
Как мячи, на ладонях летали.
Был один среди нас всех старше,
Всех бойчей — Тихомиров Васька.
Говорили матери наши,
Что дружить с ним надо с опаской.
Без отца, без матери парень,
Без присмотра живёт у тётки.
Вот и курит уже недаром,
Вот и шляется, рвёт подмётки
Называли матери шалым,
Называли его баламутом.
Только Ваську зря обижали —
Это было ох как не мудро.
Васька нас удивлял смекалкой.
Доставал из штанины ножик —

И в ружьё превращалась палка,
И в свистки — ивняк придорожный.
А за это ему ребята
Иногда из карманов отцовских,
Как подарок, несли воровато
По одной или две папироски.
Он закуривал, осмотревшись,
И сквозь зубы чиркал красиво.
Снисходительная небрежность
В каждом жесте его сквозила.
Он ходил всё в одной рубашке
И в одном пиджаке потёртом,
Но зато — всегда нараспашку,
Но зато — перед нами гордо!
А зимой, бывало, в метели,
Нам из дому не отлучиться,
Если мы шарфы не надели
Или шубные рукавицы.
Ну, а Васька даже до школы,
А потом не спеша обратно
Брёл за пять километров в холод,
Кулаки в рукава запрятав.
Рукавиц у него не бывало,
А пиджак был слишком коротким.
Ох, не сладко жилось у старой,
У какой-то троюродной тётки...
А потом... Не ждали такого —
Вдруг заряды немецкой стали
Где-то ухнули подо Львовом,
А как будто у нас упали.
Сразу выкрик — война! — осколком
По окошкам и здесь шарахнул —
И качнулась деревня с пригорка,

Будто кто ударил с размаху.
И повестки с железным слогом
Полетели из сельсовета.
Мужики по жаркой дороге
Уходили в морозное лето...
От беды увядали краски.
Бабы горестно голосили.
Постарела деревня. И Васька
Раньше времени стал Васильем.
Он мотался с плугом по пашне
И ворочал мешки на севе.
И девчонки, намного старше,
Перед ним, потупясь, краснели.
Он остался парнем последним —
Им под вечер и выйти не с кем.
Только он всё чего-то медлил,
Всё стеснялся... И вдруг — повестка.
Провожали вечером зимним —
Шли и плакали женщины рядом.
В первый раз вот такое с ними:
Стали все ему матерями!
Запоздавшее чувство горько...
Торопясь, из домов приносили
Самосад, папиросы, махорку —
Мол, бери и кури, Василий.
Он по улице шёл, как бывало,
Кулаки в рукава запрятав.
Рукавицы ему совали —
Сколько вдруг! — на меху, на вате.
Что бы сделать ещё — не знали...
Мы, мальчишки, ватагой спешили.
Он сначала простился с нами,
А потом простился с большими.

Уходил он старинной дорогой
Навсегда — только мы росли бы:
Из деревни она — для многих,
А обратно — лишь для счастливых...
... Вот с приятелем мы в деревне.
Вспоминаем давнее время.
Вдруг заминка, и слышу с болью:
«Тихомиров? Васька? Не помню...»
Умирают солдаты дважды —
От штыка или пули вражьей
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих.
Только сердце не примирится
И не будет с этим согласно.
Мне которую ночь не спится...
Встань в стихах,
Тихомиров Вася!

1964 г.



ОЧЕВИДЕЦ

Ко мне пришло известье:
Нашёлся наконец
Тот человек, с кем вместе
Был в смертный час отец.
Больным, тревожным жаром
Зашлась душа опять,
Отчаявшись недаром
Хоть что-нибудь узнать.
Ведь так горьки да горьки,
Ледяно-ледяны
Слова из похоронки,
Что в них — лишь мрак войны...
Скорее в путь!
И адрес
Твержу я наизусть.
Лесами пробираюсь,
Просёлками трясусь.
Ну, годы, раскачитесь,
Раздвиньтесь же теперь!
Былого очевидец
Мне открывает дверь.
Заныла в сердце жалость.
Я жму в тиши крыльца
Те руки, что касались
В последний раз отца.
Смотрю в глаза солдата,
Теперь уж старика.
В них каменно зажата
Ожившая тоска.
И говорит он слабо
(Мешает хрипотца):

— Не зная, вас узнал бы —
Похожи на отца.
Он, правда, моложавей... —
Прищурился старик,
И брови задрожали,
И я душою сник.
Да, это не отнимет
И время у солдат —
Посмертно молодыми
Вставать с живыми в ряд.
Но это право горько...
Ведёт хозяин в дом,
И за глухой заборкой
Садимся мы вдвоём.
Жду правды с нетерпением.
И загодя креплюсь.
Весь становлюсь я зреньем,
Весь слухом становлюсь.
Но вижу, как непросто
Хозяину начать —
Вернуться к страшным вёрстам
В тех днях и в тех ночах.
Как знак, что полной мерой
Хлебнул он тех невзгод,
К виску, колышась нервно,
С надбровья шрам ползёт.
И двигается резко
Над воротом кадык,
Как будто там железка
К дыханию впритык.
Сидит солдат обмякши,
Склонясь на край стола.
— С отцом-то в Кандалакше

Меня судьба свела.
Там тьма была народа
Для фронтовых команд.
К нам командиром взвода
Он прибыл, лейтенант.
Он заглянул всем в лица,
Точь-в-точь, как вы сейчас,
И приказал грузиться,
И брать боезапас.
И покатился поезд,
И лейтенант в пути
Расспрашивал, знакомясь,
И стал как брат почти.
Да ведь и был годами,
Повадкой своей,
Пожалуй, ровня с нами,
Лишь хмурился строжей.
И всё в дверном притворе
Не покидал поста.
Вот замелькали вскоре
Они — его места.
Молчал. От ветра будто
Он вытирал глаза.
Ему бы на минутку
Туда — да вот нельзя.
Нельзя просрочить было,
Поверишь ли, минут.
Навстречу небо плыло
В пожарах там и тут.
Мы в бой рванулись с ходу...
Постой, вздохну чуток, —
И пьёт хозяин воду,
Один, другой глоток.

Видать, горел он гормя
От горя и обид,
Что вспомнить лишь — и в горле
Вновь сушит и палит.
Через столько лет!.. Всё знойно,
Лишь двинься к рубежу.
Глядит на мёртвых воин,
Я на него гляжу. Его слова сверяю
Я с памятью своей —
По самому там краю
Лишь блики давних дней.
Их шевелю — и светом
Меня пронзает вмиг.
Да, да, всё правда это,
Что говорит старик.
Я помню, то есть вижу,
Как мать письмо отца
С цензурной меткой снизу
Читает у крыльца.
А слёзы, слёзы — градом
Меж карандашных строк.
— На фронт проехал... рядом
И заглянуть не смог.. —
Вновь сердце накололось
На стон издалека,
А рядом чую голос
Солдата-старика:
— ... Была такая ярость —
Сражённые и те
В захватчиков вцеплялись
В траншейной тесноте.
Отец твой, он без крика,
Но в самый нужный миг

Взлетел — и грудь открыта,
И был грозней, чем крик.
Проверили — отважный,
Да, он не робкий был...
Под Тихвином однажды
Прорвались к немцам в тыл.
Наш взвод — уж так случилось —
Всю роту прикрывал.
Над нами лес в лучину
Гад-немец исщепал,
Но выдохся. В затишье,
Когда приполз связной,
Мы к взводному поближе
Стянулись, кто живой.
Нам гибель — знали сами.
И он отдал приказ,
Чтоб мы домой писали,
Пока связной у нас.
И сам прилег за камень,
А вот писать не мог.
И жёгся под руками
Листок, что огонёк.
В таком аду — да что там —
До писем ли бойцам.
Вдруг слышим — самолёты!
Глядим: заходят к нам!
Всего страшнее небо
Солдату на войне.
Ползёшь — укрыться где бы?
Но небо — на спине.
Я только и запомнил,
Как жахнуло с боков
Да закачались корни

Чернее пауков.
Очнулся — нет, не мертвый,
Смотрю — а взвод полёг...
Тут подоспела рота,
И батальон, и полк.
Погибших хоронили,
Искали... Ох, земляк!
Они в песке да в глине
Схоронены и так...
И взводный там, в завале.
Его осколком в бок...
Планшетку только взяли,
В ней смятый тот листок.
Я помню и поныне —
На том листке его
Лишь «Здравствуйте, родные...»,
И больше ничего.
Лишь «Здравствуйте» — и только... —
И голос хриплый смолк,
И ледяной иголкой
Встал сердцу поперёк.
И как-то зыбко, странно
И медленно возник,
Похоже — из тумана
Передо мной старик.
Нет в правде облегченья,
Так правда тяжела,
Проста до помраченья,
Когда она гола...
— Так где ж искать могилу,
Скажи мне, старина?
— За Тихвином то было,
За Тихвином должна... —

И вновь я память вихрю,
Но в письмах горьких лет,
Что я храню, про Тихвин
Нигде помину нет.
И в похоронке нету.
И в справках — ни следа.
— Ну а когда же это
Случилось-то, когда? —
Он говорит нетвёрдо:
— Кажись, в сорок втором...
— А нам в сорок четвёртом
Сообщено о том... —
Глядим мы друг на друга,
Но всяк в себя глядит.
И нам обоим трудно
С открытием таким.
— Ужель во мне затмилось? —
Старик и сам не рад. —
Ужель однофамилец
Был этот лейтенант? —
И вновь сверяем, сводим
И видим наконец,
Что этим славным взводным
Был всё ж не мой отец.
А мой — опять в безвестье,
И тяжелей вдвойне:
Теперь два лика вместе
Уже живут во мне.
Во всём судьбою схожи
И в подвиге равны,
Сливаются тревожно
В единый лик они.
И мне, как бы слепому,

В иное не прозреть,
А жить и вечно помнить,
Как надо встретить смерть.
И боль и страх приемля,
И всё, чему уж быть,
Но пуще жизни землю
Родимую любить
И в гибельном прорыве
Живым послать всего
Лишь «Здравствуйте, родные!» —
И больше ничего.

1975 г.



ОТЕЦ

1

Отец купил перед войной
Диван огромный, чёрный,
Как сани, выгнуто-резной,
Из дерева точённый.
В нём подлокотья завиты —
Ведь надо ж так изладить! —
Как будто конские хвосты
С кручёными узлами.
И тихо радовалась мать,
Цвела, как молодлица,
Что стали избу обставлять,
Добром обзаводиться.
А мама выйдет, я и брат,
Отчаянны и резвы,
Как на игривых жеребят,
На подлокотья лезли.
Отец доволен был. И сам
Тогда возился с нами.
Смотрел на этот шум и гам
Хорошими глазами.
Любил он книги и детей,
На просьбы — добрый, скорый,
Из самоучек грамотей,
Учитель местной школы.
И не менял он ничего
Из вековых понятий.
Не папой звали мы его,
А по-крестьянски — тятей.
Он и не вышел из крестьян,
Радел родному месту.

А этот купленный диван —
Лишь дань интеллигентству.
В прохладе белых вечеров,
План сочинив заране
И дров посуше наколов,
Он думал на диване.
С покоса возвращалась мать
В переднике нарядном
И, обрядившись, отдыхать
Присаживалась рядом.
Ей было радостно с отцом
В притулье том просторном...
Но вот закат перед лицом
Поднялся красным тёрном.
Горел так странно в высоте
В тот вечер, что собаки
Завыли вдруг, косясь на те
На огненные знаки.
Им вздрогнуть бы, взглянуть вокруг,
Встревожиться бы надо,
Но не разять ни губ, ни рук
В порыве безоглядном.
И луч покуда не померк,
Смеялись, обнимались,
Не чуя сердцем, что навек
Той ночью расставались.
Наутро — помню — конский скок,
И крики, и рыданье.
Война!.. И собранный мешок
Белеет на диване.
... Теперь над ним — портрет отца.
Взгляд обращен к застолью.
Я много лет в черты лица

Смотрю с пытливой болью.
Мой взгляд летит в отцовский взгляд,
Задумчивый и строгий,
Как будто судеб перехват
И даль одной дороги.
Смотрю — и словно оживёт
В лице подобьем тени
Страда средь волховских болот
И маета ранений.
Смотрю — и смолкшее давно
Вот-вот услышу слово.
С отцовских губ слететь оно,
Мне кажется, готово.
Нет, не узнать — оно о чём.
Я всматриваюсь долго
В отцово правое плечо,
Пробитое осколком.
Оно — поуже, и погон
На нём — как будто скобка.
На голове вполунаклон
Отважная пилотка.
Весь облик, дальний и родной,
Без черточки случайной,
Как ни взгляну — передо мной
Овеян скорбной тайной.
И долго мучило, как звон
Разбитых колоколен,
Название озера, где он
Погиб и похоронен.
Мы не могли связать сперва
В той давней страшной яви
Твои, нам чуждые слова,
Ох, Ихантала-ярви.

Название, трудное на слух,
У нас в слезах кипело,
И перехватывало дух,
И в сердце каменело.
И горе в нашу жизнь впряглось.
Мать билась, причитала:
— Ну кто земельки, хоть бы горсть,
Привез мне с Ихантала...

2

Читать без боли не могу
С войны отцовы письма.
Слова — как люди на бегу
И как огнища — числа.
В поспешности карандаша,
В его крутых нажимах
Горит солдатская душа,
Победой одержима.
Победа! Далеко она,
А рядом визг осколков,
Свист пуль. И вспучен докрасна
Сугробный, топкий Волхов.
Но встань и Родину закрой
Перед врагами мстью!
И смерть — за смерть, и кровь — за кровь,
А если гибель — с честью!
И добрый, мягкий нрав отца
В том мире довоенном
Твердеет мужеством бойца
И закипает гневом.
Себя ль, себя ль щадить сейчас,

Когда грохочут орды,
Перед славянами кичась
Своим арийством подлым.
И рвутся землю нашу сжечь,
Россию обесславить,
Стереть наш облик, нашу речь,
Историю и память.
Нет, превосходства никогда
Над нами не добиться
«Чистопородным господам»
И всем иным арийцам!
Русь потому и велика,
Что в ней корысти мало,
Русь потому стоит века,
Что братства ей хватало!
Вот враг и дрогнул под Москвой,
Под Ленинградом дрогнет...
И мой отец из боя в бой
Спешит по той дороге.
Я лишь теперь прочесть могу
В намеках тех безвинных
Про Тихвин, Ладогу и Мгу
И Новгород в руинах.
Отец пред нами обнажён
До сокровенной глубины.
И нас подбадривает он,
Сильней, чем прежде, любит.
Но вот последнее письмо.
Нет и не будет больше
Ни в пачке, связанной тесьмой,
Ни в сумке почтальонши.
Она придёт ещё, придёт
К нам с почты, чуть живая,

И схватится за огород,
Как в дом войти не зная.
И принесёт в разноску ту
Уж не письмо в конверте:
В нём запечатают беду —
Прикосновение смерти.
Ох, до разности той всего
Две грозные недели...
Отец писал, а вокруг него
Бугры громов гремели.
Писал... На скосе уголка
Разорванная пушка.
Из Боевого, знать, листка
Бумаги четвертушка.
Писал — слова теснились вкось
На том закрайке рваном,
Что им — вот радость — довелось
Проехать Ленинградом.
И что его стрелковый взвод
И всё подразделение
Уже продвинулись вперед
На новом направлении.
И всё... И карандаш заглох
В том дне, далёком, летнем.
Но слышу я последний вздох
Над ним, письмом последним.
Сквозь годы слышу. Он глубок,
Отцовский вздох, и горек,
Когда отец свернул листок
В последний треугольник.
Держу его — и тяжело мне.
Вновь сердце — на пределе.
А что же я в том дальнем дне

И чувствовал, и делал?
Июнь. Сорок четвертый год.
Нет мужиков в колхозе.
Лишь мы да матери. Идёт
Страда на сенокосе.
И я косою — вжик да вжик
Во тьме цветов, соцветий —
Уж не мальчишка, а мужик
Четырнадцатилетний.
И в час, когда писал отец,
Я, может, в знойном круге
Метал стожище, мокрый весь
И чёрный от натуги.
Ну что же чувствовать я мог?
Меня хвалили бабы,
А мне свалиться бы под стог,
На полчаса хотя бы.
И вдруг берёстово бела —
Так угнетала ноша —
С последней вестью прибрела
Немая почтальонша.
Мать опрокинулась от слез,
Дом вздрогнул от обвала.
«Ой, кто земельки, хоть бы горсть,
Привёз мне с Ихантала!..»
Долг, предназначенный тебе,
Не передашь другому.
Подумай о своей судьбе,
Поторопись из дому.
И я в тиши библиотек
По справочникам шарил,
Но среди названий в книгах тех
Нет Ихантала-ярви.

И я в Карелии искал,
В озерном лучезарье,
Но и в краю былинных скал
Нет Ихантала-ярви.
И по Прибалтике бродил
Местами грозных зарев.
Солдатских много здесь могил
Без Ихантала-ярви.
И жизнь моя была б темна
От покаянной муки,
Когда бы рукопись одна
Не обожгла мне руки.
Спасибо вам, фронтовики!
Воспоминанья ваши —
Навек нетленные венки
Солдатам — братьям павшим!
И в душу мне, как в мёртвый зной,
Вдруг хлынул свежий ветер:
В пути дивизии одной
Я путь отца заметил.
И карту сразу распростёр.
На карте порыжелой
Вскипел осколками озёр
Карельский перешеек...

3

И я на Выборг взял билет.
Как дешёв он, как дешёв!
С таким в траншеи страшных лет
Проедешь ли, пройдёшь ли?
Но в путь! Народ под стук колес

Шумел струёй вагонной,
А время памяти неслось
Струёю законной.
И две струи, как свет и мрак,
Как жизнь и смерть, сближались,
Не совместимые никак,
Во мне пересекались.
Уже погас и Ленинград,
Его дворцы и шпили.
Поселки с дачами в обхват
Багряным садом плыли.
Краснели яблони. Но я
Хотел представить зримо
Не листопад, а вихрь огня,
Не яблони, а взрывы.
И проникал сквозь эту близь
До смертного предела.
В одном окне сияла жизнь,
В другом — война чернела.
Я как из мертвых оживал
В тягучем напряженье.
Так вот он, белофинский вал,
Карельский перешеек!
Вот здесь тщеславный Маннергейм
Средь гиблых поворотов,
Как на гигантской остроге,
Ощерил тыщи дотов.
Любой валун сумел учесть
В системе злобно-хитрой.
Не зря к нему — какая честь! —
Пожаловал сам Гитлер.
Я представлял, как сверху вниз
Сверлил он карту взглядом.

Железный крест его навис,
Трясаясь, над Ленинградом.
Чем наши недруги тесней,
Тем к русским ненавистней.
Для них в безумии страстей
Ничто мильоны жизней.
«Герр фюрер, рюсси не пройдут,
Мы до победы с вами!»
Гость обнял маршала: «Зер гут» —
И опалил глазами.
И руку вскинул Маннергейм,
Как подхватил ошейник.
И батальоны егерей
Вцепились в перешеек.
Что ж, как в сороковом году,
Так вновь в сорок четвертом
Мы в этом чёртовом аду
Пошли бесповоротно.
Пошли опять на тьму преград,
Чтоб вынужденным шквалом
Обезопасить Ленинград
На том пространстве малом.
Пошли, чтоб Выборг вновь вернуть
Накатистым ударом...
Я примечал отцовский путь
Лишь по селеньям старым.
Крутилась Райвола, как вихрь,
Дымились Мустамяки.
Названья мягки, только в них
Взревела сталь атаки.
Вот Кутерселькя в рвах крутых,
Вот в надолбах Перкярви.
Названья тихи, только в них

Столкнулись громы армий.
И грудью в грудь вставали здесь
И падали солдаты
На переплеты чёрных рельс
И рыжие накаты.
На взъём шоссе, в трясины мхов,
На прозелень опушек,
На проволоку в пять колов
И навзничь от «кукушек».
Вон сквозь озёрный голубец
Из скрытого обхода
На дот, быть может, мой отец
Метнулся с горсткой взвода.
Успел ли он из-под огня
За валуны приткнуться?
Солдат, взгляни! Но на меня
Ему не оглянуться.
Он далеко... В аду войны
Не слышно человека.
Мелькнув, упал за валуны
С предсмертного разбега.
И тишина. И холмик там
Среди раскатов гула.
Оттуда по моим глазам
Лишь сосенка скользнула.
Мне стужа сердце замела...
Но наконец — и Выборг.
Тянулись в небо купола
Под голубиный выпорх.
И с высоты глядел в залив,
Где плыли наши флаги,
Петр Первый, руку приспустив
К эфесу вечной шпаги.

И в парках, листьями звеня,
Сходился люд помалу.
Манила всюду жизнь. Но я
Рванулся к Иханталу.

4

*... Где-то далеко на фланге шли
непрерывные бои. В той стороне
находилась Ихантала.*

*Тайсто Хуусконен.
«Стальной шквал»*

И вот последний перевал —
Последний в небе сером! —
Меня всего — до пят — обжал
Своим гранитным ветром.
И по камням, как взгорбьям льда,
Сдирая мох корявый,
Я заскользил туда, туда,
Вниз — к Иханталу-ярви.
Оно средь множества озер,
Уже в пути мелькнувших,
Таилось в скалах с грозных пор
Безлюдней всех и глуше.
Ещё невидимое мне
В лесистом междугорье,
Прошло ознобом по спине,
Качнулось жаром в горле.
И вдруг блеснуло, как сполох,
Сквозь навесную хвою,

К ногам прихлынуло врасплох
Тяжёлой синевою.
Я обмер. Будто в берег врос.
Так вот оно какое!
Темнело чашей вдовьих слез
В своём взрывном покое.
Белели чайки лишь окрест
Да сосны зеленели...
Я перед скорбью этих мест
Свалился на колени.
— Отец, ты слышишь ли меня? —
К песку припал в печали.
Каменья, душу леденя,
Молчанье источали.
Лишь сосны, как ответ земли,
С озёрных косогулов
Над головою пронесли,
Похоже, тихий говор.
И в нём, как слабый ветерок,
Далёкий, вологодский:
«Что задержался-то, сынок?» —
Провеял вздох отцовский.
И я в шуршание песка
Шептал, теряя силы:
— Прости, что долго я искал,
Тебя мы не забыли.
Отец, промолви, где лежишь?.. —
Но мой вопрос напрасный
Унёс встревоженный камыш
В озёрное безгласье.
Поди ищи теперь следы
Могил, давно заросших
В песках сырых, во мхах седых,

В траншейных ржавых толщах.
Иль, может, на озёрном дне,
Иль в тесноте обвала,
Иль в братских, выросших поздней
Холмах мемориала.
Никто не скажет — где. Но здесь
Отец мой похоронен,
Где сосны вскинули навес
Подобьем колоколен.
Они могуществом корней
Сплели такую завязь,
Что там, в потёмках смертных дней,
Теперь отца касались.
И я, его живой двойник,
Хотел такого чуда,
Чтоб голос мой туда достиг,
Отцовский зов — оттуда.
В дыханье сосен, мокрых мхов,
В былинке, мной примятой,
И вправду я слышал зов,
Лишь только сердцу внятный.
Я встал с колен, глаза утёр,
Пошёл, внимая зову,
К шоссе, открывшему простор,
К болотному низовью.
А там в кочкарнике глухом,
Как снежные полосы.
Росли над каждым валуном
Плакучие берёзки.
Они ожгли мои глаза
Прощальным листопадом,
И я расслышал голоса,
Провеявшие рядом.

«Здесь под свинцовым сквозняком
Мы за Россию пали
И поднялись березняком,
Чтоб люди вспоминали».
Я застонал у тех берёз
В немыслимой печали.
И дрожью озеро взялось,
И чайки закричали.
Здесь под листвой не видно троп.
Я сделал шаг поспешный
И ухнул в каменный окоп —
Во мрак войны кромешной.
Свалила боль, пронзил испуг
И холод — как в могиле,
И немота — как будто вдруг
Тебя все позабыли.
Не встать, не выйти, не взглянуть
На белый свет вовеки.
И сквозь твою проступят грудь
Из-под земли побегии...
Что боль моя пред болью той
В страдании предсмертном!
А жив ли тот, кто встретил бой
Вот здесь, в окопе этом?
И кто он был и где теперь?
О нём — нигде ни слова.
Попробуй, подвиг тот измерь
Солдата рядового!
Я встал из мрака и воды
И увидел, что рядом
Ходы, траншейные ходы
Чернели ряд за рядом.
И маету тех страшных дней,

Сражение за сраженьем
Увидел в подлинности всей
Уже окопным зреньем.
Вон два холма и взъём крутой
В отеках скальной сини.
Меж них шоссе — подать рукой,
А мы — в сырой низине.
Но надо было взять холмы,
Дорогу перерезать.
За взводом взвод бросали мы
На крепость из железа.
И не из этих ли траншей
По волевому знаку
Отец, сурово построжев,
Солдат повёл в атаку?
Опять отвагу покажи,
Уйми и страх, и нервы,
И на огонь, штыки, ножи
Встань, взводный, самым первым!
Он полз с решительным лицом,
Готовился к мгновенью.
И мнилось мне, что за отцом
Скольжу я поздней тенью.
Прицельно били егеря,
Низина грохотала.
Чадил, стропила завихря,
Поселок Ихантала.
И дым траншеи заволок,
Спасителен и горек.
В нём — только промельки сапог
Да мокрых гимнастёрок.
И только мне была видна
Прикрытая осокой

Спина, отцовская спина
В поту войны жестокой.
Он подтянул поближе взвод,
Взмахнув, привстал с гранатой
И — на дорогу, и — вперёд,
Вперёд на взём проклятый!
Гнездо прикрытья сметено,
Другое — захлебнулось...
И вдруг кровавое пятно
В глаза мои метнулось.
Оно росло, росло, росло
В гуденье, крике, вое,
Кружилось, будто колесо
Кроваво-огневое.
И всё красней, и всё больней,
Свет белый заливая,
По мне катилось, по земле
Вдаль без конца и края.
И горе плачами неслоь,
Сама земля сгорала.
Очнулся я... Ах, свет берёз
Над синью Ихантала!
Посёлка нет. Спалён дотла.
Кустарник лишь теснится.
Я вспомнил мать. Она ждала
Отсюда горсть землицы.
Что взять со скального ребра
И кочек обомшелых?
Студёных камушек набрал
Со дна сырой траншеи.
Нелёгко этот узелок
На память с Ихантала.
И к озеру наискосок

Спустился я устало.
Оно тоскою разлилось.
Сквозь тихие затоны
Поднял соцветия рогоз,
Как черные патроны.
Я вскинул пригоршню с водой,
Чтоб в горести умыться,
К солдатской памяти святой
Душою причаститься.
Стоял, не обтерев лица,
Забыв себя и время.
И облегчённый вздох отца
Живым листком провеял.
Провеял, слышимый чуть-чуть,
И в шири поднебесной
Открылся весь отцовский путь —
Тяжёлый, долгий, честный.
И облик, близкий и родной,
Без чёрточки случайной,
Так чист, так ясен предо мной
Вот здесь, в тиши печальной.

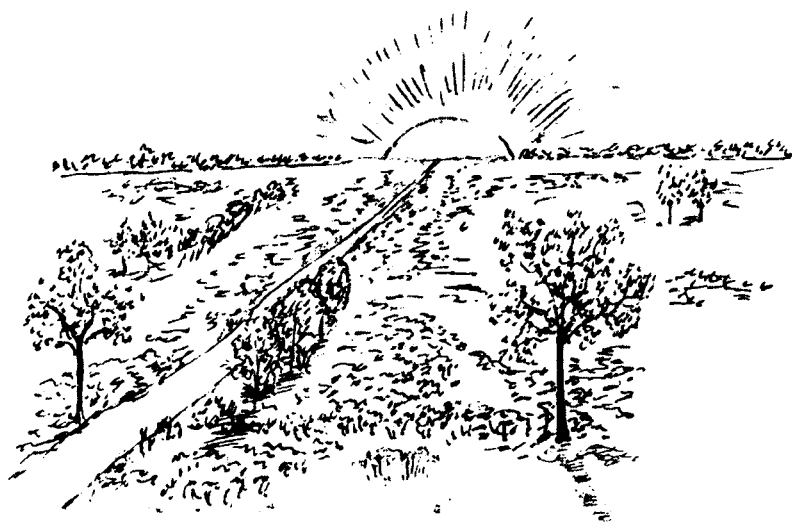
5

Я — в дом, а мать — ко мне на грудь,
Как из тумана — к свету.
Так заждалась — не продохнуть,
Устала — мочи нету.
Ей все казалось: вот вернусь
Да сяду рядом с нею
И отведу тоску и грусть,
И в сердце мрак рассею.

О, мать! Усядемся давай
Без чайной канители
На старый памятный диван,
Где вы с отцом сидели.
Ну, слушай верный мой рассказ,
Пусть сбивчивый вначале,
О слишком горестном для нас,
Далёком Ихантале.
У ней тревожно-светлый вид.
И зорче всё и выше
Она, внимая мне, глядит
Вдаль, за родные крыши,
За поле ржи, за край земли,
Где вольно ветродую,
И видит озеро вдали,
Как братину седую.
Там общий памятник стоит.
Там в скорбный ряд с другими
Я на одну из многих плит
Занес отцово имя.
Одну строку меж тысяч строк,
Но ведь — из тьмы безгласной!
И положил туда венок
От нас зелёно-красный.
Венок — под именем — ветвист!
И чуткие берёзки
Легко роняют жёлтый лист
В глубокий сон отцовский...
Ко мне прижавшись, плачет мать,
Дрожат сухие плечи.
И на портрет глядит опять,
Отцово имя шепчет.
А материнскую ладонь

Мой узелок оттуда
То обжигает, как огонь,
То режет, как остуда.
Глухие камни — и они
Вот даже малой горсткой
Являют грозный лик войны
Своею правдой жёсткой.
А за окном хлопочет жизнь,
Забыв былые беды...
Над всеми войнами взметнись,
Всемирный свет Победы!

1985 г.



Я чувствую, как у России
душа опять напряжена
и вытискиваются мысли с Новым словом.
Затем скажите нам: война...
Зелёное и голубое
Летом пробежит насквозь.
Исходят светом — заныть больно — и так сияют —
и крышки, и стволы берёз.

21-22/VI-67 Петровск
Александр





ΠΡΟΣΑ

ОГНЕННЫЕ МЕЧИКИ

Мать моя Александра Ивановна была набожной. И не диво, что у нас стала появляться Аннушка. Блаженная скиталица. Стукнет батогом в подоконник и схоронится в угол. Мать, услышав условный стук, торопится открыть крылечко.

Я тогда, с восьми лет, и запомнил Аннушку. Низко накинута на лобик тёмная фатка (что это знак Божьей невесты, узнал, конечно, потом). Глаза большие и печальные. В них голубело небушко.

Мама приносила на стол самовар, пироги и мед. (У нас долго держалась хорошая пасека). И вот, задёрнув занавеску, вставали они перед иконами. Гостья нараспев вела долгую молитву, а мама торопилась поспеть за ней чистым голосом.

Я приткнусь на печи и слушаю, как они молятся. Такими страстными, тревожными и жалобными были их слова, что мне хотелось, уткнувшись в подушку, тихо плакать. От мамы я уже слышал, что за Аннушкой гоняются милиционеры, не дают ей встречаться с набожными людьми. И был уже случай, когда доносчики высмотрели и навели на неё милиционеров.

Аннушка спаслась от них и на этот раз. Вышла из-под пультя невредима. Слух о таком чуде, подглядывая сам за собой, поплыл от деревни к деревне по всей нашей Корбанге. Старухи в закутках да уголках кинулись молиться ещё жарче, а молодухи прежде чем перекреститься, стали заслоняться спиной. Мужики же в открытую матюгали милиционеров за постыдную ловлю какой-то нищенки-побирушки. И с тех пор Аннушка не появлялась у нас. Мать втайне горевала, а я с годами забыл эту, может быть, великую подвижницу...

И вот, спустя более сорока лет, мать однажды вновь припомнила Аннушку. В своей одинокой доле она во всём

полагалась теперь на меня, старшего из трёх её сыновей. И потому она перед смертью открыла мне одному эту свою тайну.

— Долго-долго не было тогда, перед войной, об Аннушке ни слуху ни духу, — полушёпотом начала она (хотя и сидели мы вдвоём). — Я горевала, что её, такую мудрую, поди-ко уже погубили на каторге. А с самим-то, с отцом-то твоим, и заикнуться о ней боялась. Ни-ни! По деревне уже хватали самых рачительных мужиков да по тюрьмам совали. С колокольни нашей колокола скинули, а священника нашего отца Владимира расстреляли и церковь испохабили. Бабы шептали, что церковное-то добро — а оно ведь золотое да серебряное — будто бы сами же сельсоветчики и расхватили...

Мать прикрылась рукой от накотивших вдруг слез и замолчала.

— И вдруг в такую-то пору, — вновь, но ещё тише заговорила мать, — слышу в сумерках: стук-стук. Я к окну. Аннушка! Жива, слава Богу!.. А как присели к столу, вижу, как она исхудала. Одни глаза и остались. Стала угощать, да мало что и поела Аннушка. Лишь чаю с медком попила в охотку...

— Пробираюсь к вам, — говорит она, — а над Петряевом-то — огненные мечики! Прорежутся из оболочек и красно замреют над крышами. Вон у вас сколько крыш-то! Чёрные...

Я онемела, ничего не понимаю.

— Да, — повторила Аннушка, — огненные мечики прорежутся из оболочек и будто выбирают, какую крышу явить, а какую минуть...

— А что это, матушка? — похолодела я. — Не к пожару ли? Ведь Петряево уже гарывало. Не приведи Бог!..

Глянула она на меня как-то из-под низа, из-под своей фатки, пошевелила губками и в слове своем будто бы запнулась. Знать, пообереглась выявить всю тайность. Долго

молча крестилась, а потом прошептала мне:

— Огненные мечики, Олексанушка, они солдатиков ищут... Солдатушек ждут. Красно мреют, красно мреют.

Тут я омертвела: война будет?

Аннушка будто бы кивнула мне, а сказала совсем другое:

— У тебя трое деток. Ими и спасёшься.

— А как, матушка, мне-то с Олексаном жизнь свою ладить? С мужем-то моим богоданным?.

— А с Олексаном-то живи потеплей. Не бранись. По-трафляй ему во всё, — наказала она и ручку положила мне на плечо. А ручка-то ласковая, голубиная... И тут же зашептала сызнова. Будто бы про себя: — Огненный мечик... Над крышей-то...

Тут я почувяла страшное в её словах, а что — в догадку взять не могу. Обмерла вся. Она, утешая, приобняла меня.

Я уж и переспрашивать боюсь. А решилась-таки загадать другое:

— А как, матушка, мне-то пожить придётся?

Она приподняла голову, воткнулась мне в глаза и ответила так:

— Олексанушка, а Бог к сиротам милостив, — и широко перекрестила меня.

Ну, думаю, про детство сиротское моё намекает. Без родителей мы малолетками остались. Нахватались тогда горя да беды. А про своё-то уже близкое вдовство, про сиротство вас, моих детушек, в ту минуту и не подумала. И ни одному человеку, никому-никому не сказывала я о последней встрече с Аннушкой и об её страшных намёках. Вот тебе первому говорю, — и обняла меня слабыми руками, уткнулась мне в грудь и облегчённо, вся вздрагивая, заплакала.

Так мать открылась мне в своей мучительной тайне. Ведь знала уже, расставаясь с отцом, что не вернётся он с

войны. А когда в Петряево пришли первые извещения о гибели Никоноровых братьев, мать горько редела, втайне ожидая такую же весть и себе.

Однако от отца с фронта изредка приходили письма. И мать как бы оттаивала от думы, постоянно леденившей её сердце. Но вот узнали, что и братья Сухаревы погибли. Мать уже и реветь не могла. Она будто окаменела...

Уже чуялось близкое окончание войны. И отец наш, командир пехотного взвода, уже прошёл через два фронта — Волховский и Ленинградский, остался жив после двух ранений.

И мама ночами на коленях простаивала перед иконами. Жаркими молитвами и горячими слезами своими порывалась защитить своего мужа-воина от третьей пули, от третьего осколка...

Однако слова и намёки блаженной Аннушки, сказанные за три года до войны, всё же сбылись: в самый канун победы огненный мечик настиг отца, и похоронка молнией ударила в нашу крышу.



ПОДВИГ РУССКИХ ДЕРЕВЕНЬ

Во все стороны света — по архангельскому ли тракту, по московской ли дороге, по зыбучим ли просёлкам на Вятку и Неву — тянулись и тянулись деревни. Крепко рубленные да умно поставленные на берегах рек и озёр, они кипели здоровым народом, желтели ржаными пашнями, зеленели пойменными лугами. И среди такого их множества моё Петряево — всего-навсего берёзовый взгривок среди тысячевёрстных вологодских лесов. Но лишь упали первые немецкие бомбы на Киев, деревни вздрогнули и насторожились.

Сквозь годы я вижу тот июньский день 1941 года, жаркий и пыльный до судорог в горле. Отец отвёл меня, старшего сына, в сторонку от плакавшей матери и двух маленьких братьев и сказал, что надо поговорить с глазу на глаз. Он сел на порожек крыльца и, обняв меня, очень внимательно глянул мне в лицо. До сих пор не туманится во мне его прямой взгляд, полный просьбы, печали и надежды. Я в тот миг отчаянно заревел и сунулся головой отцу в грудь. «Ты у меня уже большой. Я надеюсь на тебя. И весь дом на тебя оставляю. Следи за братишками, помогай маме, ей теперь тяжело. А ты у меня сильный парень: вон как умеешь дрова колоть, гряды копать, за скотиной ходить». Тут он замолчал — горечь связала отцовы губы, лишь часто дышал да прижимал меня плотней к себе.

Отстучали по просёлкам торопливые подводы, увозившие отцов на войну, и в притихших заулках мы, вытянувшиеся и построжевшие мальчики, сразу оказались на виду. Нас много было, зелёного подроста, в Петряеве.

Председателем колхоза поставили Александра Букова, — не взятого в армию из-за косоглазия, длинного, как жердь, мужика с хмурым обличем. Бабы иной раз сгоряча называли его «Санком», а то и «Кривым», но Буков, к удивлению самих

баб, не обижался на это. Лишь глянет здоровым глазом и скажет: «Да я бы на фронт — хоть сейчас, там легче, чем с вами». И они виновато замолкали. Бригадиром выдвинули Катю Румянцеву, только что окончившую десять классов. «У неё на щеках — блины печь», — любовались в деревне Катиной статью и красотой. А парни постарше нас замирали и бледнели, лишь влетала она русым ветром в ребячий круг. Дай Катя любой наряд — тут же чёрта своротят!

Надо было приступать к сенокосу, а из Петряева в армию уже проводили шестидесяти трёх новобранцев, самых крепких работников. Буков собрал перед конторой всех оставшихся в деревне. Как глянули, сколько пришло, — и без речей поняли: каждый впрягайся в воз за троих! И наутро, на заре, двинулись матери, девки, старики и мы, подростки, на лесные покосы. Мать моя, Александра Ивановна, молодая, пригожая, по сенокосному обычаю одетая в белый вышитой сарафан, держала меня около себя и учила косить. Я был рослым и мало-помалу стал справляться уже с длинным прокосом. Она оглядывалась, как я, мокрый, загорелый до черноты, догоняю её на полосе и радостно печалилась: «Вот бы посмотрел сейчас отец». А отец писал, что учится на срочных курсах младших командиров и наказывал нам превозмогать все трудности.

Вскоре Буков уговорил матерей, чтобы они оставили нас, уже окрепшую ребятню, в ночное на низинах по реке Двинице. И они согласились. Мы по утрам рано выскакивали из холщовых пологов, пили чай и становились за Буковым в пятнадцать кос широкой артелью. Парни постарше — вслед ему, а мы — за ними. Над белым туманом впереди проступали лишь раскачивавшиеся плечи и упрямо склоненная голова председателя. С шумом оседала подрезанная трава, до жжения в ладонях накалялись косьевища, а косы чёрными молниями металась в росе. Но травостой наваливался такой плотный,

что часто они тупились, и Буков, уже скрывшийся далеко впереди, вдруг возникал из тумана рядом и точил наждаком стальные полотна тем, кто не умел и отставал. И подбадривал, и заставлял передохнуть.

Дневная норма тогда для взрослого косца определялась в тридцать пять соток, а мы на пойме, бывало, перекрывали её. Как пройдем своим артельным захватом к лесу и обратно к реке, глядишь, уже на поваленных трех гектарах гуляет раннее солнышко. И хоть падали мы от усталости на подсыхавшую траву, но когда матери приносили завтрак, было приятно слышать их удивление нашей вечерней и утренней работой.

Только свалили сенокос, накатила жатва. В колхозе было две лобогрейки. На одной такой трещотке, помню, восседал голубоглазый старик Александр Бардонов. Сутулый, зоркий (до войны охотничал от райпотребсоюза), он теперь оказался в самом пекле.

— А ну, бабы, пошевеливайтесь! — кричал он добродушно, объезжая круг за кругом ржаное поле.

— Гли-ко, медвежатник объявился! — шумели бабы.
— Тебе бы самый раз на немца теперь ходить.

— Не берут военкомы, а пошёл бы, — отвечал серьёзно Бардонов, но по тому, как тяжело бочился на тряском сиденье, было видно, что года его охотничьи уже на исходе.

Молодые девки — одна крепче и краше другой — Павла Кузина, Шура Букова, Тоня Никонорова — иди по ряду, не перечесть всех — лишь успевали складывать рожь охапками и перевязывать в снопы. В этом же ряду стояли и наши матери. А где хлеба полегли от ветров и дождей, там сверкали серпы. Я с братишками помогал матери ночами вить соломенные пояски, чтобы к утру их, влажных и прочных, было не меньше ста.

Сам же вместе с соседскими ребятами пораньше бежал

на конюшню. Надо за день свозить снопы на гумна. Изба перед конюшней, с широкой лавкой и простецким столом, была самым любимым местом сбора. Хозяиничал в ней Вени-амин Сараев, самый многодетный в деревне мужик. Он был не только конюхом, но и шорником, сапожником, каталем, плотником и в придачу ещё толковым грамотеем. Седая щетина на щеках, взгляд усмешливый и цепкий, вечный кисет под руками. На гвоздике у него висела районная газета «Ленинский путь». Он изучал её от передовицы до редакторской подписи. Радио у нас, конечно, не было, лишь из районки да областной газеты «Красный Север» узнавали, что происходит на фронте. Конюх надевал очки и прочитывал вслух самые важные места. А вести были горькие. Враг рвался уже к Москве.

Дядя Веня, оглядев нас, притихших, прикалывал газету снова на гвоздик и говорил:

— Попомните, ребята, немцу Москвы не взять! Мы, русские, что пружина — чем больше напрягаемся, тем сильнее ударим. — И для наглядности своего заключения он распахивал дверь до предела и резко её отпускал — дверная пружина со свистом захлопывала вход в избушку. И он радовался, что наши лица светлели. В колхозе была всего одна конная молотилка, а ждать, пока из МТС пришлют тракторную, не позволяли дожди. Хорошо выручали старые гумна с тёплыми овинами. Мы вкатывались в них с тяжёлыми возами и сбрасывали под полицу влажные снопы. И если снопы разваливались перед въездом, то с метлой выбегал рыжий старик Олеша Качанов и хвостал нас по спинам.

— Ведь это же хлеб, рожь-матушка! — кричал он с надсадой. — А вы тут разбаловались, чирки.

И бережливо грудил метлой сломанные ржаные остья и уносил в охапке на гумно. Нам становилось стыдно.

Собрали в ту осень по двенадцать центнеров зерна с

гектара. Оно, поистине золотое, прямо с гумен отправлялось в Фонд обороны. Оставили лишь на семена. О себе как бы забыли. А тут призвали в армию и остальных парней: Мишу Честного, Колю Бардонова, Толю Сараева, Васю Тихомирова — провожать вышла вся деревня. Разрывались от отчаянной удали их гармошки, а девки слёзно сжимали губы, висли у парней на плечах.

Буков опять собрал народ перед конторой. Сказал, что надо скорей пахать и сеять озимые. А кто, кроме него, председателя, встанет за плуг? Выскочила наперёд Марья Ромахина, загорелая, дюжая, в берестяных ступеньках на босу ногу.

— Да я от тебя, Буков, нипочем не отстану! — откинула она в азарте простоволосую голову.

Все оживились. Марью записали в пахари первой. Потом согласилась Павла Зайцева, за ней Анна Спирина — сразу нашлись доброволки.

Трудно прорезались первые борозды под женскими руками. Лошади, послушные мужскому окрику, теперь хитрили и брели, где полегче. Бабы выбивались из сил, но неотступное упорство прибавляло им опыта. Мы, боронившие поблизости, уже тяготились легкостью своей работы и напрашивались к женщинам в помощники.

— Пуп сорвёте, — отмахивалась употевшая Марья Ромахина, но, придерживая ручку плуга, всё же разрешала нам поочерёдно попахать. И мы постепенно втягивались в это самое тяжёлое крестьянское дело.

Увидел наше старание Буков и принялся обучать нас пахоте. Лошадей дал бывалых, плуги наострил и поле выделил помягче. И сам стал пахать рядом.

Навсегда запомнил я, как пошёл по своей первой борозде. Ручки плуга оказались чуть ниже плеч, гневой мерин оглянулся на меня и, видимо, поняв мальчишеское волнение, тронулся по краю поля медленно и ровно. Я изо всех сил углу-

бил стальной носок в утоптанную коровами паровину, навалился грудью на плуг и услышал, как земля вздохнула и чёрным пластом перевернулась набок. Босыми ступнями ознобно почувствовал глубину борозды, а жарким лицом — ветер настоящей жизни! Так, на своём двенадцатом году, я ощутил в себе крестьянскую силу, которой от века были крепки мои родичи — русские землепашцы.

А война всё туже натягивала череду дел, тревог и утрат. И хоть не слышали мы здесь, за лесными увалами, грохота боев, но посыпались на деревню похоронки, как осколки. Первой сотряслась изба наших соседей: погиб Павел Сараев. И жена его, Нина, запричитала по-вдовиьи безутешно. Она с такой болью причитала, что слова её сокровенные о муже, о своём горе, о детях осиротевших набирали раскаленную силу мести нашим врагам. Вся деревня склонилась перед ней, сжившись в общей скорби. И потом, когда такое горе пошло по другим избам, Нина Сараева оплакивала каждого погибшего солдата, вырывая из своей души каждый раз слова, никем не знаемые и не слышанные ранее. Вся глубина трагической стойкости русской женщины выражалась в этих великих её плачах.

Петряево посуровело. Каждый номер газет читался старыми и малыми. Лишь напечатали призыв собирать металлолом для военных заводов, тут же распахнулись тёмные сараи, чуланы, кладовки, закутки, где годами скапливалась по прежней бережливости разная железная надобность. И зазвенели посреди деревни в общей груди ржавые лемеха, самовары, топоры, чугульки — всякий ломаный железный или медный скарб. Сивый, как зазимок, Олексан Честный, солдат первой мировой войны, прикатил колёсные шины, постоял тут и вспомнил, что у него на дворе есть ещё две шестерни.

— По полпуда каждая будет, — сказал он. — Это мой «гостинец» извергу Гитлеру. Помоги, Шурка, — обратился

старик ко мне, — притащить их.

И я сразу же приволок. В тот же день отправили из Петряева больше двух тонн железа.

Потом сдавали для Красной Армии овчины, полушубки, валенки, шапки-ушанки, тёплое белье, холстину. Вяжали варежки, перчатки, носки. Шили и вышивали полотенца, кисеты, носовые платки. Сушили в печах жёлтыми кружочками картошку, собирали мешками алый шиповник. Тут уж вовсю старались — одна перед другой — девчонки. И дивились матери проворству и усердию своих дочерей.

Зима заснежила рано и морозно. По первопутку парни и девки, что постарше, укатили на лесозаготовки. Это было уже воинское предписание. Архангельским и сокольским комбинатам требовался лес. Много леса! В лесопунктах Озерёне, Козлёне и Микшине день и ночь топились потные бараки. Люди еле успевали обсушиться и вновь на лошадях пробились в сугробные ельники. Четыре кубометра пиловочника — обязательная сменная норма лесоруба. А ёлки — в обхват. Попробуй свали их топором да раскряжуй ручной пилой, да вывези на лошади к двиницкому берегу! Изматывались люди и кони, а замены неоткуда было ждать. В самом же Петряеве, не разгибаясь всю зиму, бабы трепали лён. По-соседски соберутся у кого-нибудь на полутёмном дворе (берегли керосин — зажигали одну мутную пятилинейную лампушку), натянут на телогреи передники, на которых нашиты резиновые подошвы от калош, чтобы трепала не так больно стучала по коленям, и начнут выколачивать кострику из длинных льняных пасм. Пыль качается над головами, а трепала пляшет до полуночи на коленях. Всех терпеливей была Людмила Сахарова. Скромного ростика, тихая, с большими печальными глазами (и у неё погиб муж), она пудами сдавала колхозу чистые мягкие в мерцающих искрах льняные узлы. Молчаливая Людмила, как и другие вдовы, лишь в такой непре-

рывной работе утишала горечь своего сердца.

В конце зимы по нашим деревням стали развозить эвакуированных из Ленинграда. В Петряеве оказались две семьи. С собой у них было прихвачено всего ничего. А сами — ветер повалит, в ботиночках, в легких пальтишках. Как слезли с дровней, так и ухнули в сугробы. Сразу их — в тёплые избы, да валенки на ноги, да молоком отпаивать. Долго лежали, не вставали. А потом разбредались, расхаживались. Одни по фамилии Алексеевы, а другие — уж не помню как. Сына звали Юрой, а дочь Ириной. У Алексеевых тоже была дочь — Ольга. Никакого деревенского дела они не знали. Стали их приучать.

Хлеб в деревне кончился. Толкли старый льняной жмых и пекли из него чёрные сухари. Из семенной картошки вырезали «глазки» для будущей посадки, а остальное с кожурой шло в еду. Жили одним ожиданием весны, когда брызнет у домов зелёная крапива, на лугах щавель, на полях выскочат пестики. И рыба пойдёт по Двине, сунется в наши кольчуги. А пока по насту волочились с санками и собирали остатки сена у остожьев — надо было не уронить от бескормицы скот. Мать маялась опухшими руками — надсадила на трёпке льна да на подвозке кормов для фермы. Корова ревела во дворе от голода, и я ни свет ни заря вскакивал с печи и до школы успевал в ближних местах насобирать мешок кое-какой сенной трухи. Отец с Волховского фронта писал, чтобы я во всём помогал матери, а отцовское слово для меня стало выше всего.

За зиму отправили в армию почти всех лошадей. Конюшня опустела, осунулась, и дядя Веня стал тачать хомуты и прилаживать веревочную упряжь уже для быков. Он крестил такими словами эту упрямую скотину, что бабы, слышавшие всякую ругань, хватались за бока. Однако сам он заметно приободрился: слова его сбылись — немца отшвырнули от Москвы.

— Вот она, наша пружина, — поднимал конюх свой вычерненный драгвой кулак, — сработала! Ещё, погодите, не то будет. Заподскакивает немец, как на углях!..

Пишу я эти строки и чувствую: нет, не вмещается в них вся мера пережитого — настолько она велика! И деревенские люди тех лет, встающие в памяти, смотрят на меня, теперешнего, строго и взыскательно. Будто говорят они: «Ищи слово, равное своей судьбе. Только таким словом сможешь рассказать и о нас...»

Да, они ни в чём не пожалели себя. Выстояли. Выдержали все тяготы. Укрепили фронты. И дивлюсь я теперь тому, как смогли они, скажем, в нашем колхозе не запустить в годы войны под бурьян и кустарники ни одной сотки пахотной земли, ни одного клочка пойменных сенокосов.

А ныне, при такой-то технике, именно эти хлебные да травяные уголья вокруг Петряева давно заглушило чернолесье. Сунешься в него, споткнёшься, и сердце сожмётся от боли и негодования: под ногами — старые борозды. Ну, разве можно так незначительно жить?..



Нет, не забыть мне той работы,
Которой были мы сильны,
До иступленья, до ломоты,
До ста потоков вдоль спины.
До крика дружного «Эх,
взяли!»,
До сотрясения земли,
До стога, слышного едва ли,
До озаренья, что смогли.

1985 г.

ПРИЧЕТ НИНЫ САРАЕВОЙ

Господарево же ты моё
Ты моё чадо милое
Ты куда собираешься
Ты куда снаряжаешься
В путь дороженьку дальнюю
Дальнюю невесёлую
Ты от литичка от тёплого
От времечка от весёлого
От поры от рабочие
Ты поедешь чадо милое
На службу военную
В подневолюшку великую
Повезут тебя христовое
Тебя с волости на волость
С города на город
Подобирайся христовое
Там своего родного батюшки
Там могилушки братские
Попроси моё христовое
Благословленица великого
Ты моё росло подымалося
Без родимого батюшки
Ты не зазнав моё христовое
Неги нежные ласки отцовские
Уж как твой родимой батюшко
А моё ладо милое
Не знаем где похоронена
Где головушку положила
Она головушку положила

Во большом кровопролитии
От силы вражеской
Кабы была я горегорькая
Была бы пташкой пташечкой
Я слетала бы я слётала
К своему ладе милому
Рассказала бы христовому
Своё горюшко кручину
Я живу горегорькая
Одним горюшком питаюся
Горьким слёзкам умываюся
Кручинушкой утираюся
Я родилась горюшечка
Несчастливая несчастная
Пошто родила родимая
Лучше бы меня родимая
В морюшко синее бросила
На меня на горюшечку
Счастьеца не положено
Всё мое видно счастьеце
Горюшком загорожено
Я не могу думой думати
Про себя про горюшечку
Как доживу горегорькая
До денёчка единого
До часочка последнего
Уж как тебе чадо милое
Тебе надо собиратися
Так не устоять в уме разуме
Зажмёт сердечко ретивое
Ты на кого горегорькую
Меня оставишь чадо милое
Меня одну одинёшеньку

Ты худую худёшеньку
Кабы была я горегорькая
Была в старом здоровьице
Так горюшко половинное
Я сказала бы горюшечка
Ты служи чадо милое
Со великим со счастьицем
А как теперь я горюшечка
Не могу думой подумати
Как буду жить приниматися
Как буду жить напускатися
Уж у меня у горюшечки
Не ходят ноженьки резвые
Не делают ручки белые
Головушка с плеч покатится
Зажмёт сердечко ретивое
Куда пойдёшь чадо милое
Из домику благодатного
Уж как теперь горюшечку
Не веселит ничто не радует
Не веселит и утро раннее
Не греет солнышко красное
И не покоит ночка тёмная
Одна-одна дума твёрдая
Как я останусь горегорькая
Я одна одинёшенька
Я худая худёшенька
Ты попроси чадо милое
Свою сестрицу лебёдушку
И любимого зетюшка
Тётушек и дядюшек
Чтобы они не оставили
Только одну думу думаю

Что мне тебя не дождался
С тобой не видатися
Как бы была я горегорькая
Была немножко поздоровее
И горюшко половинное
Уж как я горегорькая
Несчастливая зародилася
Уж как первое горе кручина
Я лады милого лишилася
Уж как другое-то горюшко
Своего здоровьица лишилася
Я живу теперь горюшечка
Что кукушечка безгнёздная
Что пташечка бескрылая
Уж господарево моё христовое
Ты не обижайся христовое
На меня на горюшечку
Что не потешила
Что не понежила
Ты не видал чадо милое
Не видал света белого
Ты росло подымалося
В горюшке да в кручине
Уж теперь теперичи
Простись с друзьями с товарищами
И с подружками голубушками
С весёлой гуляночкой
Нам тебя долго не увидети
Голоску не услышати
Как у меня у горегорькой
Была одна одна думушка
Уж я доживу горегорькая
До холодной зимушки

Я бы сказала чаду милому
Приведи мне заменушку
Не ходят ноженьки резвые
Не делают рученьки белые
Уж у меня у горяшечки
Нетутка нет здоровьица
Здоровьице всё потеряно
Уж этого я не думала
На уме было не держала
Что пойдёшь чадо милое
Ты на службуицу военную
Что ты оставишь меня христовую
Одну одинёшеньку
Как бы я знала это ведала
Не отдала бы лебедушку
Во замужьице проклятое
Нажилась ещё успела бы
Уж как всё горе рассказывать
Надо неделюшку откладывать

Написала это Нина Сараева, колхозница из деревни
Петряево, Сокольского района, Вологодской области, 55-ти
лет, провожая сына в армию.

Записано летом 1960 года по просьбе А. А. Романова.



ПРИЧЕТ
ЛЮДМИЛЫ СУДАКОВОЙ

Ой, в горе горьком сердце мается,
В горе горьком разрывается.
Получила худу весточку
Со чужой-то со сторонушки.
Погубили злые вороги
Моего-то друга милого,
Дорогого ненаглядного. Ой.

Ой, плету я в своей горнице
Да одна-то одинешенька,
Целу ночь глаз не смыкаючи,
Свою долю проклинаячи,
Милы детушки давно уж спят,
Утром встанут рано, ести захотят. Ой.

Провожала друга милого,
Провожала убивалася,
Знать навеки расставалася.
На кого оставишь детушок,
Наших маленьких кровинушок?!

Да расступись, сыра земелюшка,
Отпусти его на волюшку,
Да разлетитесь птички-пташечки,
Да по всему-то свету белому.
Ой, возвращите отца родного
Моим горьким сиротинушкам!

Не забыть мне друга милого,
Ой, до гроба, гроба белого,

Когда черная земелюшка
Станет доброй, милой матушкой.
Ой, расскажу тебе любимому
Как жила я в муке-маете.

Не оставь меня ты, господи!
Со судьбой моей оборванной.
Помоги поднять мне детонек,
Прокормить, да в люди вывести.
Дай мне силушку великую
Прожить жизнь мою нелегкую. Ой.

Автор причета Людмила Судакова, медицинский работник, уроженка Сокольского района. Написала причет в 1990 г.



КЛАВДИЯ НИКОЛАЕВНА

(Быль)

Разбирал я свои давние записки и наткнулся на одну неказистую и вовсе позабытую книжку. Она вся исписана топорливым пером. А начал вчитываться и оторваться не могу. В ней жива-живёхонька речь хозяйки ночлежного домика в поселке Кадниковском. Звали её Клавдией Николаевной. Это случилось давно, и я не знаю, жива ли она.

В ту пору она была бойка и речиста с командировочными. Неловко спросят они начальницу, доставая деньги, сколько надо за ночь, а Клавдия Николаевна весело вскинется и скажет:

– Со мной – так рубль, а без меня – полтинник.

– Ну, за рубль не постоим! – хохочут приезжие.

– А с меня сколько? – спрашивает только что вошедшая с улицы и розовая от мороза женщина.

– А с Вас – не знаю, – придуривает хозяйка. – Расценка какая у Вас? Может, рублей пять...

Женщина столбенеет: «Оскорбление? Я пожалуюсь в партком...»

– И пошутить нельзя, – серьёзнее хозяйка. – Я всю жизнь с мужиками. Люблю мужиков. В бане работала, а теперь вот в доме приезжих. И Вы – первая гневаетесь... Что ж, идите в партком...

Женщина и впрямь хлопает дверьми.

Следующая моя запись в этой книжке тоже бегучая. Я еле успевал за речистой хозяйкой.

– Муж-то мой, ну, самый первый, – рассказывала она уже в большой комнате, размещая нас, четверых командировочных, – ну, самый родной, был такой сильный, что по два пуда в каждой руке поднимал. Как начнёт поднимать, так из сгибов рук будто по ребёнку выпрыгивают...

Один из нас, командировочных, хмурый такой, не понял, переспросил.

– Ну, из таких мышц его пузатых, – пояснила Клавдия Николаевна. – Любил он меня и ночью, и утром, и в обед. Когда поест, надо было класть ребёнка в люльку и ложиться. Бывало, заплачу.

– Ты чего? – спросит удивленно.

– Опять ночь...

– Дура, люди только ночи и дожидаются...

– Хороший он был у меня!.. Погиб в первый год войны.

С тремя ребятишками оставил... – и затуманилась Клавдия Николаевна.

В другой раз, когда собрались мы вместе, она принесла нам горячего чаю в подстаканниках. И мы опять заинтересовались её дальнейшей жизнью.

– Ой, мужики, – присела к столу и нашему угощению. – Когда привезли сюда, в лес, выселенных с Поволжья немцев, то поблизости к моему дому разместились семья Густава. Жена его Клава вскоре померла, и он остался с тремя ребятишками. Иду как-то по улице и слышу в домике немцев ребячий крик и плач. Зашла – они одни. Фрида, Ганс, Товальд – мал мала меньше.

– Что вы, ребята, плачете?

– А мама стучит в окно...

Смотрю, стекло без замазки – дрожит от ветра. Тут и вспомнила, как я, маленькая, так же однажды испугалась. Заскочила с улицы в дом (родом-то я с Междуречья, из присухонской деревни), хотела попить водички и замерла: из другой комнаты смотрят на меня материнские глаза. Как будто мигают мне. А мамы-то нашей уже не было в живых. Заревела я, выскочила из избы. Прибежали соседки, объяснили, что это в заборке тесовой вывалились два сучка, и вот в дырки замигало солнышко...

Вот это и вспомнилось мне, когда си-дела у немецких ребятишек.

Вернулся с работы Густав. Я ему: «Оконное-то стекло прижми поплотней, сделай замазку. Дрожит оно от ветра...» Сунула ребятишкам по сухарику и ушла...

А тут ещё такое случилось. Шла моя дочка Роза с работы, видит: кто-то в канаве барахтается. Выволокла – испуганно смотрит на неё маленький Товальд, весь в грязи, в слезах. Приобняла его, к дому привела...

И по посёлку сразу разнеслось: «Вон её дочка немчика спасла». Бабы, смотрю, начали подхихикивать надо мной... Однажды черпаю из колодца воду. Кто-то сзади легонько трогает. Обернулась: Густав.

– Ты чего не заходишь? Ребятишки спрашивают...

– Да всё некогда, – соврала я.

– Заходи...

Стало жалко. Пришла. Ребятишки грязные. Вытопила баню, всех вымыла. И Густав двери в избе заменил и утеплил. Столяр хороший. Добро сделал. Вдруг прибегает ко мне. Бледный.

– За мной приехали. Видно, в тюрьму...

По мне мороз – до пят. Тут поняла, что, вроде, не чужой он мне. Побежала в сельсовет, спросила у нарочного из военкомата, куда забирают Густава.

– А вы кто ему? – не отвечая, нарочный спрашивает меня.

Не знаю, что сказать...

– Да так, – молвила. – Вот ребятишек жалко. Одни останутся, ведь трое сирот...

– Он вернётся домой, – чуть потеплел нарочный. – Надо в военкомате подремонтировать кое-что.

Когда Густав уезжал столярничать, то упал ко мне в ноги: «Возьми к себе моих ребятишек...»

Что делать? У самой трое, да ещё бери троих чужих!..

– Веди их, – ответила я Густаву. А когда вернулся из райцентра, то сразу ко мне в дом. Гостинцев привёз, деньги суёт, но я не беру. Сказала ему:

– Давай договоримся на берегу, а уж потом и за реку.

Усадили шестерых ребятишек вокруг стола и сказали им о своём намерении. Я еле-еле унимаю в себе дрожь. Дети опустили головы и молчат. Тут мой старший сын Рафаил (он уже начинал работать после семилетки) сказал: «Приходите, Густав». Но вот средний Сережа (ему двенадцать лет) никак не согласился. И Роза поддержала брата: «Ведь немец он...» Рафаил тут вскочил нам ними: «Я вот сейчас покажу вам и русского, и немца!..» Все опустили головёнки и притихли. Больше в то застолье ничего и не промолвили.

Я думала три ночи и решилась – попробуем жить вместе. Сережка тут же выкинул в коридор подушки Густава: «А он тятку нашего убил!»

– Да нет же, – заревела я над сыном. – Да, он немец, но и в Германии-то не жил... Несчастный он, сам видишь, одинокий, добрый...

И Сережка вроде бы поутих.

И стали привыкать жить вместе. С простенка смотрел на нас Василий – мой первый муж. И боязно было мне вскидывать на него глаза, да помаленьку пообжилаась с новым мужем. Спасалась и спасаюсь одной думой. Покойный мой родитель, отец умный, царство ему небесное, наказывал мне: «Вот, Клава, хочешь быть счастливой, так исполняй три участи. Первое – попадёт кто-то в беду или нужду какую – беги на выручку. Второе – встретишь пьяного – помоги добрести до дому, может, у человека горе какое. А третье участие такое – умрёт человек, так не гнушайся, как следно обмой да справь его на тот свет...»

Вот люди в посёлке вызнали меня и стали зазывать на такие горестные sprawy. Привыкла. А ведь немцев-то привезли к нам с Поволжья, так многих и хоронили мы.

Да, только одно милосердие и спасает нас от греха и равнодушия.

Вот что рассказала нам добрая русская баба Клавдия Николаевна.

2 февраля 1995г.

УКОРЫ СОВЕСТИ

В моём Петряеве старожилы помнят, как к одиноким Бардоновым – к Олексану и Олексутке – уже после войны вдруг появился их единственный сын Николай, сгинувший без вести с сорок первого года. Из материнских, что ли, слёз, из молитв жарких возник сын в дверях родной избы. Вот было потрясение! Вся деревня сбегалась, трогали его, слушали сбивчую исповедь, словно страшную сказку. Оказалось, что в первом же бою он, контуженный и не помнивший себя, попал в плен, был увезён в Германию, там бежал из концлагеря и сражался с немцами в рядах французского Сопротивления. Даже медаль французскую привёз, показывал народу. Но от пережитого уже и сам стал как бы тронутый. Взял было гармонь, развел её да и заревел в голос, опустив голову на меха.

Но такой случай выпал, кажется, лишь единожды на всю нашу деревенскую округу. А надрывно часто – не реже, чем похоронки – приносились извещения о пропавших без вести. Стон и плач катился по деревням, и безвестия поселялись в домах мукой мученической, без срока и без ясности. Нередко вызывали ещё и подозрительность особо бдительных и продажных глаз, возвышавшихся на народном горе. О, человеческая подлость!

А мужики ли и парни, надёжные в своей отваге, повинны в том, что оказывались безвестно разбомбленными, не добравшись до фронта, или отсеченными танками в гибельные окружения, или взятыми израненными в плен после отчаянных схваток? Повинны ли они, повторяю, в безвестности своей гибели? Кто осмелится упрекнуть их в таком исходе жизни, найдутся ли такие судьи, которые могут поставить под сомнение неведомую нам жертвенность и неузнанную нами преданность их своей Родине?..

Вот прошло уже больше полувека, а я не могу без слёз вспомнить Васю Тихомирова, Он старше меня был всего на четыре года. Тощий, добрый, черноглазый. Любил лошадей. Делал свистки из ивовых веток. Жил с матерью и сестрой бедно, по-колхозному. Сборы на войну были коротки: с утра – повестка, к вечеру – подвода. Обнял мать и сестру, снял шапку, помахал народу – и завихрились дровни, и исчез в этой метели Вася Тихомиров навсегда. Ни слуху, ни духу, никакой весточки. Как будто и не было его в нашей жизни. Но он был! Я помню, помню, как ветренно пузырилась на нём домотканая рубаха в мелкую красную клетку. Он уже пахал землю, но ещё не целовал девок – в самом начале жизни спалила паренька война. Чтобы образ Васи хоть на какое-то время задержать в людской памяти, я написал стихотворение «Тревога», веруя в силу поэзии. Там есть такие строки.

...Умирают солдаты дважды –
От штыка или пули вражьей
И спустя много лет, в грядущем,
От забывчивости живущих.

Да, забывчивость, надо честно признаться, так широко угнездилась в нас, что оторопь берёт от такого повального беспамятства – вчерашний день уже не помним. До истории ли Отечества нам, когда и родню-то свою знать не знаем!

Ужели угасли в нас укоры совести?

1965 г.

ОТЦОВСКОЕ ОЗЕРО

В тот июльский вечер сорок четвёртого года мы, подростки, пахали поле под озимь. Жара спала, оводы не мучили лошадей, и мы криками поторапливали друг друга. Нам хотелось к полуночи вскружить всю пахоту, чтобы председатель, встававший рано, подивился поутру на нашу работу. Но я успел развалить лишь половину своего загона. Только выбрался с Карюхой от речки Шумечево, с низового конца поля, как увидел: по моей борозде от деревни, спотыкаясь и падая, бежит братишка. Что-то случилось! Я крикнул соседу, чтобы поглядел за моей лошадьё, и кинулся навстречу брату. Он только и смог сказать, что к нам пришла почтальонка. Петряево закружилось в моих глазах, дома повалились друг на друга. В нашей избе голосили бабы, а мать стонала и билась головой об стол. Она не могла расписаться, что получила похоронку. Почтальонка ждала меня. Я сквозь слезы разглядел на серой бумажке: «похоронен в районе озера Ихантала-ярви». И расписался.

С того самого мига чужое и трудное название озера, где погиб отец, окатило нас неизбежной горечью. Где оно, это озеро, в какой стороне? И кому его искать? Мне всего четырнадцать, а братьям и того меньше. А мать — она дальше нашего райцентра нигде не бывала. И спросить некого: все мужики ещё на войне. А после войны жизнь так затрясла-завертела, что не до поисков было, самим бы устоять да не потеряться.

Не знаю, не спрашивал я в те и в последующие годы своих братьевей, тяготились ли они нашей общей виной из-за ненайденного Ихантала-ярви, но меня этот долг, не отданный памяти отца, мучил постоянно. Мать не упрекала нас, она уже давно утвердилась в представлении, что озеро это в чужой

стороне, где-то за границей, куда нам и доступа нет. И, чтобы ей было полегче жить, я увеличил фронтовой снимок отца до размеров портрета, повесил на простенок, и мать обрадовалась этому, словно и вправду почувствовала — уже навсегда — нерасторжимую и осязаемую близость с отцом. Но мне-то было ох как горько. Укоризны совести — от них не отмахнёшься! А если и сможешь приглушить в себе, то лишь до того урочного часа, когда опять ворохнётся в памяти прошлое, и заночует душа от вины, только тебе известной. И покажешься ты сам себе ничтожным человеком.

Особенно больно было прикасаться к отцовским письмам. Они обжигали мои руки.

Вот 30 марта 1943 года отец писал после первого ранения: «...Дорогой сын, будь спокоен и твёрд, не пасуй перед трудностями, а старайся их преодолеть. Мама мне написала, что ты умный мальчик, работаешь и учишься, нет тебе выходных. Когда я прочитал это, то, поверь, слёзы у меня из глаз покатались, и они были слезами благодарности тебе за твою работу и помощь маме... Скажи ей, что рана моя зарастает, пусть не расстраивается. Скажи также, чтобы променивала мои вещи на хлеб и картошку и узнала в райвоенкомате о моём рапорте насчёт хлеба для вас...»

6 октября 1943 года, после госпиталя, получили такое письмо: «...За шесть месяцев пребывания на переднем крае нашей обороны опять привык к суровой боевой жизни под грохотом вражеских мин, снарядов, под свистом и трескотней пуль. Часто приходится испытывать тревожные минуты, забывая обо всём, но пока, как говорят, «судьба милует». С 12 сентября по 1 октября я выполнял одну работу, по окончании её, за хорошие результаты, мне наш подполковник пожал руку. Я вам ещё ни разу не сообщал о своём военном звании. Мне сейчас присвоено звание лейтенанта. Вот коротенько всё о себе. Правда, можно бы много писать обо всём, что я пережил,

испытал, насмотрелся, главное — о тех злодеяниях, которые творят и творили проклятые фашисты на нашей родной земле... Да, как бы я хотел помочь вам в трудной жизни, но что сделаешь — проклятый враг, которого гоним с нашей земли, так много принес горя и страдания не только нам, милые мои родные, но всему нашему народу, а поэтому надо стойко переживать все трудности. После победы, если останусь жив, создам для вас лучшие условия...»

После второго ранения отец 11 марта 1944 года так обращался ко мне: «...вчера получил твоё письмо со стихотворением «Красной Армии» и два письма от мамы. За письма большое, большое спасибо. Спешу ответить. Завтра я из госпиталя уезжаю. Нас направляют в Ленинград, а оттуда куда направят, не знаю. Рана моя зажила, чувствую себя по-старому. Шурик, я тобой очень доволен. Во-первых, ты помогаешь маме в её тяжёлой и трудной жизни и следишь за Пашей, чтобы и он, как ты, тоже хорошо учился. Он ведь ещё мал, он ещё не окреп и физически и морально, как окреп ты, он ещё не познал жизнь так широко, как понял ты, поэтому может легко поддаться разным вредным влияниям. А ты помоги ему в учёбе, в решении задач, а если у него изорвутся сапоги, то ты как-нибудь закропай, разговаривай с ним по душам, ободряй его, и о маленьком Лёве тоже не забывай, следи и за его развитием. Во-вторых, радуюсь, что ты самостоятельно занимаешься литературой и упорно работаешь над собой. Так и впредь делай. Полной рецензии на твоё стихотворение «Красной Армии» я в этом письме дать не могу, некогда, если будет возможность, то напишу в следующем. Общее впечатление мое таково: стихотворение хорошее, содержательное, отражает историю Красной Армии. Но в нём есть и недостатки, в частности не выдержан размер стиха, то есть количество слогов по строчкам у тебя такое: 10, 8, 9, 11, 10, 8, 7, 13... Литературный труд продолжай и накапливай знания по всем

предметам. Помни, что прочные знания, которые приобретаются в школе, нужны всякому человеку во всякой работе (и литератору, и инженеру, и врачу, и колхознику, и рабочему). Работа в колхозе в свою очередь обогащает твой умственный кругозор и улучшает материальное положение нашего дома. Также знай, что при хорошей дружбе легче переносятся трудности и воспитываются надёжные качества в человеке. Как видишь, дорогой сын Шура, я перед тобой ставлю очень и очень большие задачи, потому что кроме тебя у меня нет никого, кому бы я мог всё это поручить — ты старший в семье».

Когда я добирался в папке до этого письма, глаза застилало жарким туманом. И не потому, что отец хвалил меня — от похвал никогда не кружилась голова, — а потому, что отец в окопах, на переднем крае войны навсегда поверил в меня как в надёжного сына. Он, шагавший три года по смертной полосе, из огня в огонь, был уверен, что я ни в чём не подведу его, что я есть на белом свете, и случись ему погибнуть — будет замена в жизни. От одной этой догадки, что он думал именно так, мне становилось тяжело и тревожно. И опять болело сердце: а оправдываю ли я надежды отца?

Ведь я ещё не сделал самого главного — не нашёл то скорбное место, где он погиб. И начинал — уже в который раз! — искать Ихантала-ярви. Бывал в Карелии, бывал в Прибалтике — много там озёр, в названии которых есть слово «ярви», но нужного мне никто назвать не мог. В отцовских письмах, несмотря на цензурные зачеркивания, всё-таки проглядывали намёки, в какую сторону двигался он со своим стрелковым взводом. Упоминались бои в болотах, атаки при прорыве ленинградской блокады, стремительный выход к Новгороду.

И вот, последнее письмо от 15 июня 1944 года. «Нахожусь снова на фронте. Ленинград, за освобождение которого я дважды пролил свою кровь, остался позади нас. Сейчас

трудно что-либо сказать наперёд, предстоят большие испытания...» И всё! Переписка с отцом, как горячая жилка, оборвалась... Я тем июльским вечером, прибежав с поля в дом, качавшийся от причетов, едва разглядел на серой бумажке: «...геройски погиб 4 июля 1944 года. Похоронен в районе озера Ихантала-ярви».

Так где же оно, в какой стороне? Эта изнурявшая дума многие годы обессиливала меня. И тут помог случай. Однажды Северо-Западное книжное издательство попросило меня прорецензировать рукопись фронтовиков. Когда стал вчитываться в неё, такое охватило напряжение, будто сам ползу по волховским болотам, слышу взбешенный шквал пулеметов и автоматов, чувствую всей кожей вихрь смерти, вижу близкие брустверы в злых вспышках. И сразу я подумал об отце. Он воевал тоже на Волхове. И всё, что было пережито — перемучено нами после его гибели, вновь оживляли страницы этой шершавой, как шинельное сукно, рукописи. Я до рези в глазах вглядывался в них, как в далёкие зарницы войны, пытаюсь найти потерянный в боях отцовский след.

Страшные по огню, ярости и натиску бои катились от Волхова к Новгороду, а потом от Ленинграда в Прибалтику и на Выборг. Какие люди погибали! Молодые, смелые, неостановимые в своём порыве к победе! Вот один из великого и трагического их множества — Владимир Кораблин. На Карельском перешейке он бросился в рукопашную, увлекая за собой взвод. Дрогнула от такого броска и замолкла первая траншея. Он рванулся ко второй. Гранатой смёл с пути проволоку, столкнулся вновь грудь в грудь с финнами, и те падали, обезумев от страха. На Володе от зажигательного осколка запылала одежда. Он, огненный, ринулся уже к третьей финской полосе. Наши наступавшие бойцы видели, как впереди факелом повис на проволоке их товарищ. Он ещё смог швырнуть последнюю гранату на головы врагов и вспыхнул пла-

менем. Тут наш прорыв задержать уже ничто не могло! Владимир Кораблин посмертно стал Героем Советского Союза.

Может, и отец мой слышал о нём. Жгучая весть о подвиге молодого героя облетела весь наступавший Ленинградский фронт. Вот как было тогда. А многие ли ныне, особенно юные, знают, как это было? Горький вопрос...

Страницы рукописи источали удушливый дым боёв и смертельный озноб схваток. Далее в рукописи я читал о 286-ой дивизии: «20 июня 1944 года дивизия получила новый приказ — наступать на север, в направлении Тали — Репала. Между двумя озёрами, в узком дефиле, проходила первая линия обороны финнов. Опять минные поля, четыре ряда гранитных надолбов, пять — колючей проволоки, двухметровые траншеи, доты и дзоты. За ними, после небольшой, насквозь простреливаемой поляны — вторая оборонительная линия. На гряде холмов, среди скал — замаскированные пушки, минометы и пулеметы. Однако 286-я дивизия взломала и этот рубеж финской обороны. 22 июня её части перерезали железную дорогу, идущую от Выборга, овладели станцией Тали и вышли к району Ихантала»...

У меня перехватило дыхание. Ихантала! Вот где это место! Вот куда, путаясь в неизвестности, так долго тянулись мучительные думы нашей матери и нас, трёх сыновей, оставшихся без отца. Но в рукописи об Ихантале больше ничего не сказано. Однако путь уже указан!

Сборы мои были коротки. В Ленинграде я пробился в электричку и сел к окну. Карельский перешеек! Вот здесь, всего в тридцати двух километрах от Ленинграда, были сооружены четыре дьявольски укрепленные линии Маннергейма, считавшиеся европейскими военспецами совершенно неприступными. Они располагались до девяноста километров в глубину и тянулись по фронту на сто тридцать пять километров, включая в себя полосы обороны и обеспечения,

лесные завалы, проволочные сети, гранитные надолбы, противотанковые рвы, эскарпы, минные поля и более двух тысяч опорных пунктов с долговременными и деревоземляными огневыми сооружениями, которые перехватывали все дороги и все межозерные дефиле. Не оставалось ни одного метра земли, который бы прицельно не простреливался.

И всё это наши армии прорвали за десять дней — с 10 по 20 июня 1944 года. Выборг взят! Но война ещё бушевала. Между озерами Ихантала-ярви, Киви-ярви и Сало-ярви ещё ожесточенно трещали скалы, лопались железобетонные доты, вскипали озёра и лилась кровь...

Я не отрывался от вагонного окна. Силился представить кромешную лавину войны, катившуюся по этим местам. А перед глазами плыли в осенней позолоте тихие перелески да чистенькие посёлки уже с русскими названиями. Как будто никогда не бывало здесь боёв. От мыслей ломило голову. Выборг возник в окне высокой старинной башней. Но мне некогда было его осматривать. Устроившись в гостинице, заторопился в горвоенкомат. Там поначалу никто — ни дежурный офицер, ни сам военком — не могли прояснить, где отцовское озеро. Озёр здесь столько, что и счёту нет. И все уже давно переименованы. Было, к примеру, Сури-Хампилампи, а теперь — Большое Лошадиное. Было Перки-ярви, а стало Красавицей. А про Ихантала-ярви и слыхом не слыхали. Молодые офицеры — и вправду, где им знать, как прежде назывались по-фински все эти местечки и озёра. Видя моё горестное состояние, сказали: «Подождите, разберёмся. Вот подойдёт Артемьев — найдёт ход».

Я ждал Артемьева, как спасителя. Он наконец-то пришёл: уже пожилой, вежливый, с очень внимательным взглядом.

— Давайте поищем вместе — и Александр Николаевич достал из сейфа две карты Выборгского района. Старую —

финскую и новую — нынешнюю. Взял лупу и склонился над синими и зелёными на картах каплями, прожилками, веточками и крапинками. Сотни мельчайших обозначений! Я тоже смотрел в эту лупу, но у меня так туманились глаза, что разобрать ничего не мог.

Вот Ихантала! — вскинул обрадованное лицо Александр Николаевич. — Посмотрите сами.

Я опять приник к лупе и навел её на то место, которое указал Артемьев. И тут, о, радость! увидел латинские очертания финских букв: Ихантала!

— А теперь, — сказал Александр Николаевич, — сравним с нашей картой и узнаем, в каком сельсовете находится это озеро.

Сравнили: на финской карте ближайшая железнодорожная станция к озеру называлась Карисалми, по-нынешнему Гвардейская. Я крепко пожал руку этому заботливому человеку и поехал в Гвардейский сельсовет.

Местный поезд шёл медленно. По ту и другую сторону — холмы, болота и озёра. Они, казалось, переливались из одного в другое. Которое же из них Ихантала-ярви? Сошёл я на станции Гвардейской — вокруг сосняки и скальные осыпи. И опять озёра. Одно — справа, другое — слева, холодные и безмолвные в своей тайне. В сельсовете застал двух молодых женщин — председателя и секретаря. На мой вопрос они переглянулись друг с другом: нет, не знают, которое из ближних озёр Ихантала-ярви. Они родились здесь после войны и, конечно, не слышали, как раньше назывались эти озера. Таких сведений и справочников у них нет. Меня охватило отчаяние. И тут женщины догадались направить меня к Николаю Алексееву — человеку, знающему эти места. Он тоже подрастерялся: что-то слышал об Ихантале, а которое оно — точно сказать затруднялся. Недолго гадая — вот отзывчивость! — накинул куртку и повёл меня по тропе в лес.

— На хуторе Лампия живёт Дмитрий Михайлович Михайлов, — сказал он. — До него вёрст пять. Всезнающий мужик. После войны заведовал охотничьим хозяйством. Уж он-то скажет точно.

И мы торопливо двинулись по лесу. Тропа то вскидывалась на скальные подъёмы, то падала в зыбучие мхи. Заморосил дождь. Вокруг потемнело. Хвойные ветки стегали и мешали разглядеть тропу. Я почувствовал боль в груди, на ходу глотал валидол, но от Николая не отставал. Впереди, за березняком, послышался лай собаки.

— Вот и Лампия, — сказал Алексеев и остановился, чтобы закурить. Я, изнемогая от усталости, присел на мокрый валун. Наконец-то!

Когда мы промахнули березняк, увидели стожок сена и два домика. Собака с лаем заметалась у изгороди, но, узнав Алексеева, стихла, лишь косилась зорко на меня, и впрямь оробевшего перед такой пастью и сердитым взгивком. Из дома вышла хозяйка и приструнила собаку. Мы познакомились. Это была жена Михайлова — Зинаида Васильевна. С первого взгляда она обогрела нас спокойной приветливостью. В лице её, чуть усталом от прожитых лет, сохранились мягкие отсветы былой красоты, а в движениях, в разговоре была та естественность и простота, которая свойственна добрым женщинам.

— Хозяин-то вон едет, — показала она на озеро, подступившее к их домикам. — Уже увидел нас.

Я взглянул туда: из сумеречной мороси торопилась к берегу лёгкая лодка. Сердце мое забилося. Дмитрий Михайлович ловко причалил к дощатому настилу и, сутулясь, поднялся к нам на берег. Собака вертелась у его рыбацких бродней, норовила лизнуть руки, но он ласково отмахнул её в сторону. Когда он распрямился, я увидел крупное мужицкое лицо и под нависшими бровями умные и охватистые глаза.

— Здравствуйте, люди! — голос оказался мягкий и певучий, как бы не соответствовавший грубоватому и грузному облику пожилого лесника. — Заходите в дом, к чаю.

Пока мы раздевались, Зинаида Васильевна расторопно накрыла стол. Но и в тепле этого просторного уюта меня по-прежнему знобила тревога, и я нетерпеливо начал разговор. Дмитрий Михайлович, уже по-домашнему расслабившийся, внимательно наклонился ко мне,

— Ихантала-ярви? — переспросил он.

— Да, Ихантала-ярви, — замирая, повторил я.

— Так это теперь Петровское озеро.

— Где, где оно?

— От моего дома — семь вёрст по лесу.

Я бросился обнимать Дмитрия Михайловича. Камень, горячий камень снял он с моей души! Зинаида Васильевна и Николай тоже взволновались и затихли.

— Ведь ты, Николай, знаешь это озеро. Помнишь, сетки ставили, — Дмитрий Михайлович повернулся к Алексееву.

— Да, помню, но вот оно ли Ихантала называлось, усомнился. А дело у товарища такое, что тут без ошибки надо. Вот к тебе и повёл.

— Петровское оно теперь, Петровское, — Дмитрий Михайлович положил надёжную руку на моё плечо. — В сентябре сорок четвёртого, когда финны у нас всё-таки запросили мира, на охрану государственной границы пришла наша часть, а меня назначили старшим егерем. Надо было заводить своё пограничное хозяйство, самим кормиться. Так мы, егеря, поначалу стали сапёрами. Кругом — мины. А незахороненных солдат — тысячи! Страшно было взглянуть. Где земля — закапывали, где скалы — камнями заваливали. Ставили столбики, на дощечках где фамилии, а где одно число писали. Вот как было. Мемориал-то Петровский уж потом сделали. Да ещё три братских кладбища. Свезли туда из наших захоронений.

Конечно, не всех. Да и мы-то не всех предали земле...

Дмитрий Михайлович уже не мог говорить — потемнел лицом. Зинаида Васильевна забеспокоилась. Но он бережно отстранил её рукой.

— Вот что, Саша, — обратился он ко мне, — я тебя свожу на озеро, только не завтра. Ноги мои сдают. Погости у нас день-другой — ходим.

И опять я обнял его, уже родного для нас человека, поблагодарил и спросил, как из Выборга добраться до озера.

— А очень просто, — сказал Дмитрий Михайлович, — садись на рейсовый автобус — и до Петровки. Сперва будет мемориал, а потом озеро. Оно рядом с бетонкой. Озеро длинное, тянется справа. Какие там были бои!... — и он прикрыл широкой ладонью вновь затемневшее лицо...

Кое-как перемог я эту ночь в Выборге и наутро устремился к Ихантала-ярви. Вот и Петровский мемориал — гранитный полукруг с высеченными словами:

«Есть у Отчизны каменные книги печали вечной и бессмертной славы. Одну из них, гранитную, прочти. Имён здесь много, много безымянных, их путь земной недолог был, но ярок. Они погибли, победив».

В горестном оцепенении медленно прошёл я у навесных плит с фамилиями погибших. Более четырёх тысяч имен! Отыскал Романовых. Семь однофамильцев, но мой отец Александр Александрович не упомянут. Он — в безымянных. Острая боль полоснула сердце. Не помню, как вышел из ледяного полукруга. Помню, что оказался на зелёном холмике. Оглянулся: кругом какие-то красные ягодки. Они стыли на низких кустиках. А кустиков-то — длинная и ровная полоса. Могилы? Я поднялся и тяжело побрёл рядом с мерцавшими ягодками, словно каплями крови.

Отец не упомянут. Это уже моя вина. Мой грех. Мой стыд. Мог бы приехать я раньше, мог бы! Как теперь идти

мне с ущербной совестью?.. Отец лежит здесь, в этой округе.
Под каждым шагом — он. Каждый шаг — боль... И я пошёл к
Иханталу-ярви.

И вот последний перевал —
Последний в небе сером!
Меня всего — до пят — обжал
Своим гранитным ветром.
И по камням, как взгорбьям льда,
Сдирая мох корявый,
Я заскользил туда, туда,
Вниз — к Иханталу-ярви.
Оно средь множества озер,
Уже в пути мелькнувших,
Таилось в скалах с грозных пор
Безлюдней всех и глуше.
Ещё не видимое мне
В лесистом междугорье,
Прошло ознобом по спине,
Качнулось жаром в горле.
И вдруг блеснуло, как сполох,
Сквозь навесную хвою.
К ногам прихлынуло врасплох
Тяжёлой синевою.
Я обмер. Будто в берег врос.
Так вот оно какое!
Темнело чашей вдовьих слёз
В своём взрывном покое.
Белели чайки лишь окрест
Да сосны зеленели...
Я перед скорбью этих мест
Свалился на колени.
Отец, ты слышишь ли меня? —

К песку припал в печали.
Каменья, душу леденя,
Молчанье источали.
Лишь сосны, как ответ земли,
С озёрных косогоров
Над головою пронесли,
Похоже, тихий говор.
И в нём, как слабый ветерок,
Далекий, вологодский, —
«Что задержался-то, сынок?» —
Провеял вздох отцовский.
И я в шуршании песка
Шептал, теряя силы:
— Прости, что долго я искал.
Тебя мы не забыли...

Впервые так остро и наяву почувствованная близость с отцом жарким током прокатилась по жилам. Я встал с колен и пошёл сквозь берёзки, в жёлтом вихре листвы, к озёрному спуску. Осыпался песок, утопали кочки, зыбилась осока. Холодная вода хлынула в сапоги. Ощувив дно, я брёл дальше и дальше, уже по пояс, на чистую синеву. А там испил этой студеной воды вместе со своими слезами да умылся. Будто причастился и очистился.

Обсушившись у костерка, я до вечера бродил один-одинёшенек по берегам отцовского озера. Сколько здесь траншей, развороченных дотов, ржавой проволоки и ядовито-зелёных гильз! Из воронок и окопов тянутся к небу берёзы да сосны, хотят скрыть бушевавший ужас войны, но камни, уложенные на брустверы траншей, не дают и деревьям заслонить прошлое. Камни — вечные свидетели горя и беды. Вспомнив старую мать, ждущую бессонно в Петряеве, я набрал камешков из траншей, чтоб увидела, потрогала она ос-

трый холод тех берегов, на которых воевал и погиб отец.

Надо действовать! Я вернулся в Выборг и сразу — к Александру Николаевичу Артемьеву.

— Пишите два заявления, — сказал он. — Одно — председателю райисполкома, другое — горвоенкому. Имя вашего отца будет увековечено в Петровском мемориале. Будет восстановлена справедливость.

Какие хорошие люди встретились на моём поисковом пути! Первый — Артемьев. Он не только определил по карте, где Ихантала-ярви, но подготовил документы и нашёл мастера гравировки, чтобы врезать в металл среди четырех тысяч имен и отцовское имя на Петровском мемориале. А Михайловы — Дмитрий Михайлович и Зинаида Васильевна! Если бы не они да не Николай Александрович Алексеев из Гвардейского, долго пришлось бы кружиться и путаться мне среди выборгских озер. А Ольга Владимировна Шишлова — она быстро продвинула моё заявление в райисполкоме. А Николай Иванович Базанов, полковник в отставке, земляк, щедрой души человек! Он более двух месяцев в Центральном архиве Советской Армии по документам восстанавливал всю военную биографию отца. Это он узнал, что отец на Карельском перешейке воевал не в 286-й, как полагал я, а в 168-й дивизии, в 462-м стрелковом полку и 4 июля 1944 года возглавил штурмовую группу второго батальона.

Штурмовая группа! Как вспомню ихантальские холмы, увитые траншеями, словно длинными патронташами, как представляю, что отец первым поднимался на ножевые вспышки амбразур, так и прихлынет к глазам кроваво-огневая буря. Будто это я сам, живой ещё, скатываюсь в первую траншею, в шинельно-зелёную, полную мечущихся врагов щель и, падая, вижу в последнем просвете, как падают финны и наши солдаты...

Отцовское озеро омыло меня ледящей правдой войны. На нём, в скорбной тишине, я ощутил суть самого себя как человека и с беспощадной ясностью увидел смысл своей жизни. И до скончания дней буду таким, каким вернулся с отцовского озера.

1986 г.



СЛОВО, РАВНОЕ СУДЬБЕ

Уважаемый читатель! Наверняка прочитанное повергло тебя в глубокие раздумья. Наверняка глубоко встрепенулось твоё сердце, опаленное жгучим словом писателя. Александр Александрович Романов, человек редких душевных качеств, встав на писательскую стезю, постоянно пытался отыскать слово, равное судьбе своего народа. Внимательно, изучающе всматривался он в лица деревенских людей, ощущая себя единокровной частицей сельского мира. И чем глубже осознавал свое родство с ним, тем чище и зорче становился сам, мужало его пламенное слово. Родники творчества А.А. Романова – в осмыслении святости как преданий старины глубокой, так и в постижении высоких нравственных устоев людей, которых вырастила Земля Вологодская.

«Свет Победы» – лирико-биографический сборник. Лирическая палитра писателя то пронзительно щемяща, то сурово торжественна. Его главный герой – человек, истово любящий отчизну малую и Отечество Российское. Бездонна и беспредельна эта любовь. Мудреющего с годами писателя, ежегодно наезжающего в родные края, любовь односельчан к земному и небесному всё более и более завораживает и тревожит. Он будто наяву видит радетеля родимой земли – «вековечного крестьянина – Мужика, Солдата, Пахаря великого», перед которым «Замерзает слово на губах красивое, Истинное слово опадает на сердце».

«Опавшим на сердце словом» писатель говорит о подвиге русских деревень. Говорит об этом в поэме «Пласты» узорным былинным слогом так вольно и так близко к говору народному, что невольно озаряет мысль: «Как явно перекликается он с автором «Слова о полку Игореве!». Случайно ли совпадение столь далеко стоящих друг от друга во времени речений, обращенных к навсегда ушедшим? Нет! Дух рус-

ского народа не подлежит тлену. «Русь уходит в нас!». И мощно явит себя в последующих поколениях.

А ведь и в романовских «Пластах» и в «Слове о полку Игореве» явно просматривается характерный для русского поминального эпоса стиль причета. Так оно и есть! Так оно и должно быть! Не случайно приведены в книге всамделишные причеты двух женщин, кстати, землячек писателя А.А. Романа. Обрати на них внимание, читатель. Велика русская народная традиция почитания воинства и геройства!

На отпор врагу в годы Великой Отечественной войны, по неуточненным до конца данным, было мобилизовано свыше 333 тысяч вологжан – более 20 процентов от общей численности населения области по состоянию на 1.1.1941 года. Большинство из них – уроженцы вологодских сел и деревень. Ушли на фронт, оставив крестьянскую работу, семьи и привычные домашние дела.

Не досеяли, не достроили, не долюбили...

Война выкосила многие вологодские семьи. По двое, по трое, а то и четверо, пятеро, шестеро и даже семеро членов вологодских крестьянских родов уходили на фронт. Есть под Вологдой маленькая деревня, из которой на войну ушли братья Золотовы, – и пять отнятых войной жизнью братьев Золотовых – это тоже цена возвращенному Земле миру. Название же деревни – Мирносица.

Непомерная тяжесть легла на плечи вологжан-тружеников тыла, в особенности крестьянок.

Вот и кончилась война,
И осталась я одна:
Я и лошадь, я и бык,
Я и баба, и мужик –

такую горькую правду поведает о себе вологодская крестьянка в послевоенной частушке-причете.

Какой мерой измерить сотворимое и пережитое? Как сказать хотя бы о главном? О Труженице, о Матери, о Вдове Солдатской? Только по Ньюксенскому району ведомо, что 956 женщин, потерявших на фронте мужей, в одиночку подняли, поставили на ноги и вырастили 2659 ребятишек! В том же районе из 3901 труженика военного тыла, награжденных медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» 2994 человека, или 75,5% – женщины.

«Пишу я эти строки и чувствую: нет, не вмещается в них вся мера пережитого – настолько она велика! И деревенские люди тех лет, вставшие в памяти, смотрят на меня, теперешнего строго и взыскательно. Будто говорят они: «Ищи слово, равное своей судьбе. Только таким словом сможешь рассказать и о нас...»

Да, они ни в чем не пожалели себя. Выдержали все тяготы. Укрепили фронты. И дивлюсь я теперь тому, как смогли они, скажем, в нашем колхозе не запустить в годы войны под бурьян и кустарники ни одной сотки пахотной земли, ни одного клочка пойменных сенокосов».

(«Подвиг русских деревень», 1985 г.).

Быть похожим на этих людей, которые умеют стоять «за правду до конца» – вот что самое сокровенное, дорогое, чтимое вынашивает, пестует писатель в душе своей на протяжении десятилетий, изумляя каждой строкой, рифмой и словом, своей искренней пытливостью в общении с людьми старшего поколения. «Отцы как будто с нами вместе...» – «мне эту думу век носить». Читаешь эти строчки, и глаза наполняются непрошеной влагой, и отчего-то сердце замрет от гордости за его сыновнее желание свои собственные шаги по жизни постоянно сопоставлять с отцовскими, достойно нести память о нём и пребывать в том прекрасном человеческом состоянии, которое называется долгом перед ушедшими поколениями родичей.

«Свет Победы» – издание особого рода. Стихотворения, поэмы, очерки, которые читатель нашел в этой книге, представляют воздвигнутый лично писателем Алтарь Победы, у подножия которого невольно хочется склонить голову.

40 лет потратил А.А. Романов, чтобы отыскать место гибели своего отца лейтенанта Романова. Переживания, горькие раздумья по этому поводу начались еще в 1944 году, когда почтальонка принесла «похоронку»: «Петряево закружилось в моих глазах, дома повалились друг на друга».

«Похоронен в районе озера Ихантала-Ярви», – значилось в казенной бумаге. Где оно, это озеро? Как отыскать к нему дорогу?

«Не знаю, не спрашивал я в те и последующие годы своих братьев, тяготились ли они нашей общей виной из-за ненайденного Ихантала-Ярви, но меня этот долг, не отданный памяти отца, мучил постоянно».

(«Отцовское озеро», 1986 г.).

Мне, главному редактору 35-томной «Книги Памяти Вологодской области», множество раз приходилось испытывать озноб, находя в «похоронках» прочерки в строчке «Место и обстоятельства гибели».

Из 178711 имен воинов-вологжан, сложивших головы в сражениях, у 85984 человек таких сведений нет. Цифра, усугубившая трагедию потери, которая сама по себе повергала в отчаяние матерей, жен, детей павших в бою. В десятках полученных мною писем спотыкался на фразе: «Где отыскать место захоронения?» Отвечал каждому не только для того, чтобы ободрить, но, прежде всего, помочь нащупать какую-то зацепку для поиска: связаться с военкоматами, в расположении которых могло находиться захоронение, с советами ветеранов бывших боевых соединений и т.д. Советовал ни за что не прекращать поиска, как бы долг и труден он ни был.

Стихотворения и очерки писателя Романова об отце, не вернувшемся на порог своего дома – не только утешение для тех, кто до сего дня скорбит о потере и таит надежду навестить могилку солдата, но и познание подлинной сути жизни и памяти о павших.

Нет! Срезав солдата прицельно,
Его лишь. – Та пуля вразлёт
До третьего поколения
В семье сквозняком достаёт.
Тоской, сединой караулит,
И время для пули – не щит.
И что б ни менялось, но пуля
Сквозь годы все кровью сочит.
(«Пуля», 1975 г.)

4 июля 1944 года и 18 октября 1984 года. 40 лет и ещё 106 дней пути к месту гибели отца. Намного перейдя черту возраста лейтенанта Романова, писатель вызнал до конца

«отцовский путь –
тяжелый, долгий, честный».

Кто-то и сегодня потратит на посещение праха дорогого ему человека несколько часов, а кому-то нужно пройти сквозь годы и десятилетия. И в этом тоже суть человеческого бытия в его истинном толковании. У памяти нет границ времени. Она возвышает, очищает душу самого человека.

И вот сын лейтенанта Романова одолел «последний перевал».

Перед писателем «чашей вдовьих слез» темнело озеро Ихантала-Ярви.

«Впервые так остро и наяву почувствованная близость с отцом жарким током прокатилась по жилам. Я встал с колен

и пошёл сквозь березки, в жёлтом вихре листвы, к озёрному спуску. Осыпался песок, утопали кочки, зыбилась осока. Холодная вода хлынула в сапоги. Ощувив дно, я брёл дальше и дальше, уже по пояс, на чистую синеву. А там испил этой студеной воды вместе со своими слезами да умылся. Будто причастился и очистился.

Отцовское озеро омыло меня леденящей правдой войны. На нём в скорбной тишине я ощутил суть самого себя и с беспощадной ясностью увидел смысл своей жизни. И до окончания дней буду таким, каким вернулся с отцовского озера».

(«Отцовское озеро», 1986 г.).

На мемориальную доску братского захоронения «Петровка М-30», что в 15-16 километрах от города Выборга, была, наконец, внесена фамилия лейтенанта Романова Александра Александровича.

«Там общий памятник стоит.
Там в скорбный ряд с другими
Я на одну из многих плит
Занёс отцово имя.
Одну строку меж тысяч строк,
Но ведь – из тьмы безгласной!
И положил туда венок
От нас зелено-красный».

(«Отец», 1985 г.)

Не просто, оказывается, уважаемый читатель, сложить «слово, равное судьбе» своей и своего поколения. Достоинно, славно и мудро, как водится у народа русского, сложил это слово писатель-гражданин Александр Романов.

Валерий Судаков



Уважаемый Александр Иванович,
получил ваше письмо и очень рад,
что вы пишете мне. Желаю вам
здоровья и счастья. Скоро
буду писать вам снова.



Вологодская область
Биряковский район
п/о Воробьева
дер. Петряево
Романову Александру
Александровичу, ученику 6^{го}
класса Петряевской школы
Полевая почта 57870
Романов А. А.

Письма Романова А.А. с фронта.



Май 1941 г. Отец (сидит второй слева)
завуч Вородневской семилетней школы

5 января 1942г.

Здравствуйте дорогие мои родные:
меня Шура и дети Шура, Лайма, Лета!!!

Спешу сообщить, что я, пока что, всё и
здоров, того и вам желаю. В данный момент
нахожусь на Новом месте, в части, куда
правильно работать, но к работе ещё не
поступил. Долго ли буду находиться без
работы пока неизвестно. Губительно для
паровоза, здоровье тоже по-старому.

Дорогая Шура, прости меня за то
я за последнее время стал редк
письма, это по тому, что
Брест 1942г. на сегодняшний
день в дороге и у меня
нового адреса нет, а
послал тебе два письма.



Привет с фронта!



Здравствуйте дорогие мои родные: жена Шура, дети Шура, Франс, Лева и бабушка Екатерина.
Дорогая Шура, очень сожалею, что я, пока что, жив и здоров чего и вым письма. Накончили снова на фронте и снова и испытываю и предстоит испытать мне большие трудности, и война не кончена. Последний время, как вспоминаю, я в партизане, наводилась все в дивизион, в походах. Снова, в третий раз в партизане, прогнал я через горы-горы Ленинград теперь он стал в поезде нас. Об мне Шура себе не расстраивайся, — если есть у меня счастье, то может и счастья Бог даст буди равно-но трудно вместе. Сейчас трудно что-либо сказать вперед, ибо все трудности впереди.

Шура, писал я от вас не получило в февраля месяце, не знаю, как вы живете что делались; как твое здоровье и здоровье детей, как будете с хлебом и прочее. Это очень печалит меня, но я вас не вижу и не общаюсь так как постоянного адреса у меня не было, а отсюда и твое письмо, видимо, не доводили до меня.

Шура, я знаю, что тяжело тебе с хлебом, но я ничем помочь тебе не могу. Советую только, если будет возможность

“Привет с фронта!..”

Последнее письмо отца домой с фронта. Июнь 1944 г.

от... и...
 больше...
 Боты Шурка, Таня, Туся. от...
 1-2...
 за...
 в...
 здоровье и...
 "Здоровья - все...
 Я...

ПРИБИЛИТЕ
 02811

Вологодская
 обл. Бурьяковский
 район № Вородово
 дер. Петрово
 Романовой Александр
 Ивановне

Полевая почта 37596-4
 Романов Александр

...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...
 ...

4 июня 1944

15 июня 1944

Последнее письмо отца домой с фронта.
 15 июня 1944 г. Обратная сторона.

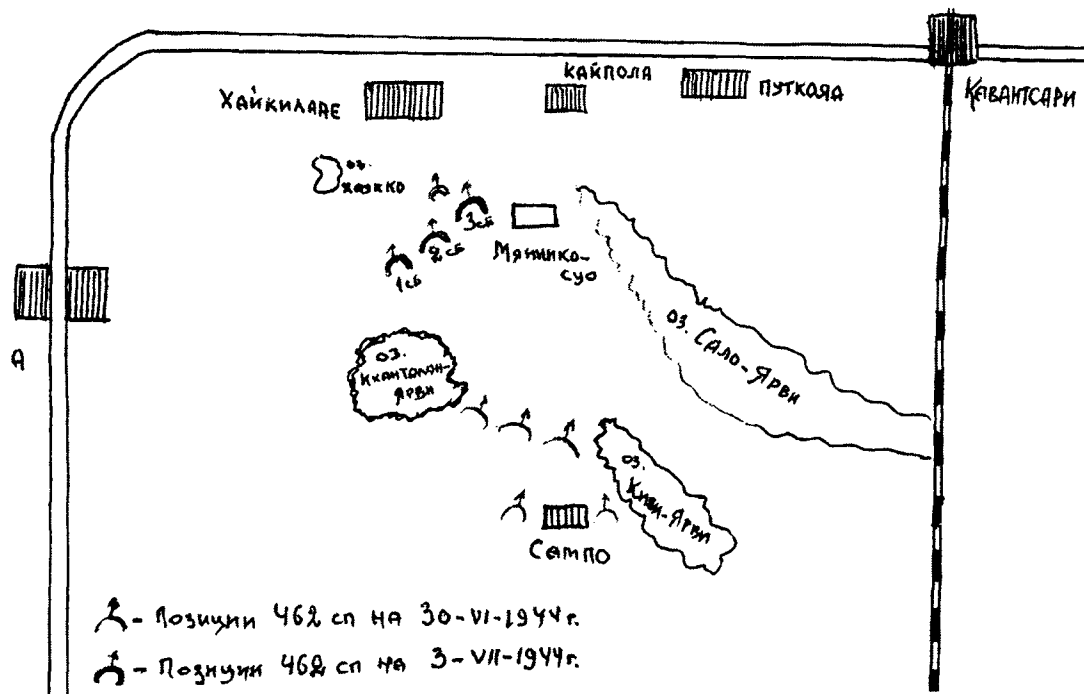


Александра Ивановна Романова с сыновьями Александром, Павлом, Левой, невесткой Асей и первым внуком Володей возле родного дома в Петряево. 1953 г.



Вдова с шюля 1944 г.,

Романова Александра Ивановна, дер. Петряево, 1980 г.



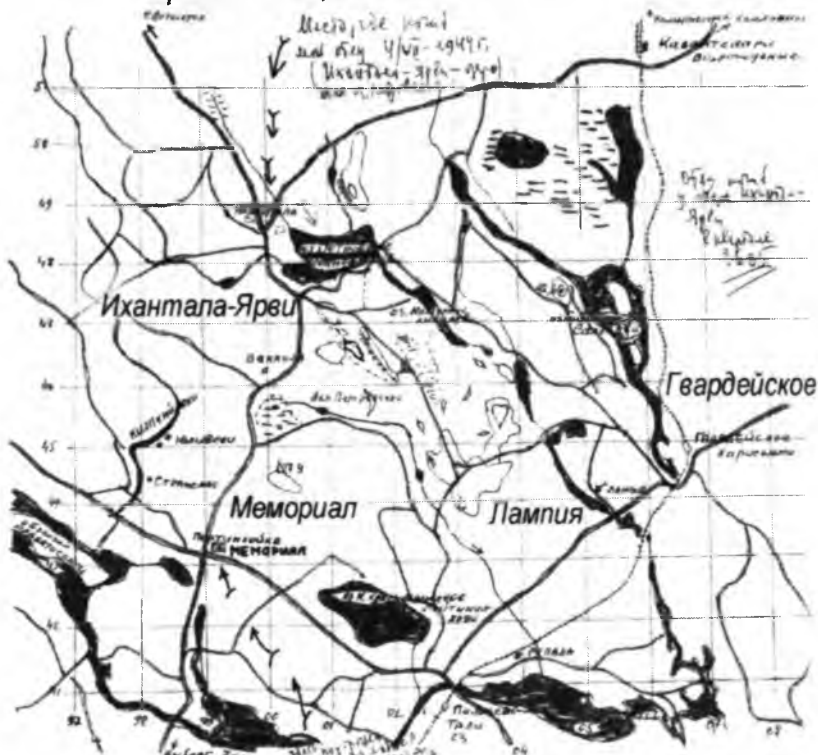
Карта боев 462-го стрелкового полка 168-й дивизии, где Романов А.А. возглавил штурмовую группу, в июле 1944 года в районе озера Ихантала-Ярви



Озеро Ихантала-Ярви “...Так вот оно какое!
Темнело чашей вдовьих слёз в своём взрывном покое”.

“Место, где погиб мой отец 4/VII 1944 г.
(Ихантала-Ярви озеро, ныне оз. Петровское)”

Светогорск



Выборг 7 км

“Здесь отец похоронен
(установлена памятная доска)”

Карта местности района озера Ихантала-Ярви
(Выборгский военкомат)



Братья Романовы - Павел, Александр, Лев
возле горестной надписи: "Романов А.А., 1944 год"...



Мемориал Петровский (М30) возле Ихантала-Ярви, 1985 год



Мемориал Петровских
 (возле ^{озера} Ахатал),
^{Ильича Петровского}

где, видимо, похоронены оба.

Здесь в 1985 году я с коллегами
 Голубовским и Волочинским установил
 памятник надписью об этом, инициалы ЗДК
 4 мая 1944 г. при историческом орденом Березовый
 обр. ф. 111111

Боюсь чтобы все у вас прошло хорошо
и тебе пишу что ты мой дорогой
переживаешь за все но сама все сама про-
веряй не надейся на всех людей все разные
и сам воздержись похвально много не вли-
вай и все будет поспокойнее, и ребятам
и самому тебе похвалится этот раз
нужнаея сама на маму что я это пишу тебе
вот придет кони тут уж не такое много-
людье можно и быть, милой мой сама
спасибо тебе за приглашение к тебе на день
рождения: повер сама я ответствую себе неваж-
но, потому что все болит: так и схват на такой
празник и народу много будет все не просто на
роде будут выступления, но и как бы
мать твою могла бы сказать много много
как я вас подняла без-отца много было
труда и горя и неспящих ночей потому
что я сама трудилась отрана дотемна
и вам не давала покоя все было надо
особенно сама тебе, когда отец
пошел на войну и тебя держит
на руках на сарае и уговаривает

тебе сынок Мура осталась за позд
ина дома. а сам ревит гледит
на тебе обнимает какас такой дает
слушай маму и братьев невидишай
Ташу адева оземь год. надо ево свести
вьеси. так. Сама можнобы мне сказа
это год. этого кесмоу. сразу слезы
горкие повалете ты сама и сам
помниш. это тебе отец наказывал
и ты все выполнял и работы всекие
непотсилные. и непотсилные одаха я
вам мало давала. я вас не побуждала
невзем шо у мене всего неостаток
был и впитаны одевансе обцвансе
потому шо мы еще моло похсима
с Алексаидром Алексаидровичем
моло запату было; новот уже все
подъемис как трудно всем было ном
но толкода темер было мир в мире
это первое жизнь радсет и покои
не отвеан Госода врага от нас
шоби он не капал какас какво
моло дах ребят ити ужас



У родного крыльца
1982 г.

Романова Александра Ивановна с сыном Александром,
дер. Петряево.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

книги А.А. Романова «Свет победы».

- 2 стр. Портрет писателя Романова А.А., автограф
6 Отец и мать писателя
28 Военное фото Романова А.А.
30 Последнее фото отца Романова А.А. с фронта
34 Письмо с фронта жене, Романовой А.И.
35 Романова А.И. с младшим сыном Левой
44 Часы батько Василия
56 Село Георгиевское. Возле церкви - сельское кладбище
91 Писатель Романов А.А. в родном доме
131 Писатель Романов А.А.
138-139 Письма с фронта
140 Групповой снимок с Романовым А.А., завучем Воробьевской школы.
141 Письма с фронта
142 Последнее письмо
144 Семья
145 Романова Александра Ивановна
146 Карта боев 1944 г.
147 Озеро Ихантала-Ярви (Петровское)
148 Карта местности озера Ихантала-Ярви
149 Братья Александр, Павел, Лев возле горестной надписи: «Романов А.А. 1944 г.». Мемориал Петровский, 1985 г.
150 Мемориал Петровский возле оз. Ихантала-Ярви, 1985 г.
151 Автограф Романова А.А. на фотографии мемориала
152 Письмо матери сыну
154 А. Романов с матерью у крыльца родного дома в деревне Петряево

В книге использованы письма и фотографии архива семьи Романовых, рисунки вологодских художников Юрия Воронова, Александра Попеляева.

КНИГИ А.А. РОМАНОВА

Библиографическая справка

Признание друзьям	Волог. обл. книж. редакция, 1956 г.
Утренние дороги	Вологда. Книжное изд-во, 1959 г.
Сыновья любовь	Вологда. Книжное изд-во, 1961 г.
За морем берёзовым	Москва. Советская Россия, 1963 г.
Семизвездие	Вологда. Книжное изд-во, 1963 г.
Красное застолье	Архангельск. С-ЗКИ, 1966 г.
Посвящение в родню	Москва. Сов. Писатель, 1967 г.
Избранное	Архангельск. С-ЗКИ, 1969 г.
Позёмка	Архангельск. С-ЗКИ, 1972 г.
Радуга дней	Москва. Современник, 1973 г.
Чёрный хлеб	Москва. Молодая Гвардия, 1975 г.
Пласты	Архангельск. С-ЗКИ, 1976 г.
Пятистенок	Москва. Советская Россия, 1978 г.
Северные поэмы	Архангельск. С-ЗКИ, 1979 г.
Чтоб стать собою...	Архангельск. С-ЗКИ, 1982 г.
Красные тучи	Москва. Современник, 1982 г.
Вёрсты раздумий. Книга прозы	Архангельск. С-ЗКИ, 1983 г.
Дни прозрения	Москва. Молодая Гвардия, 1985 г.
Вологодские просторы. Очерк	Москва. Планета, 1987 г.
Научиться бы жить. Книга прозы	Архангельск. С-ЗКИ, 1987 г.
Русь уходит в нас	Москва. Современник, 1987 г.
Избранное. Стихи и поэмы	Москва. Современник, 1990 г.
Гудят колокола	Москва. Рекл. библиограф. поэта, 1994 г.
Искры памяти. Книга прозы	Вологда. КИФ «Вестник», 1995 г.
Вологда моя светловолосая	Вологда. КИФ «Вестник», 1997 г.
Заветное	Вологда. И-во Малоземова, 2000 г.
Сторожевой луч	Вологда. ВПО, 2000 г.
Последнее счастье.	Вологда. ВПО, 2003 г.



Содержание

От составителей.....	4
А.А. Романова «Лишь память затронешь...».....	7

СТИХИ

Дума об отце.....	26
Солдат.....	31
Гора.....	32
Ровеснику.....	34
Отцовские письма.....	35
«Судьба не сладкая - вдовья...».....	37
21 июня 1941 года.....	38
«Было, хромки души жгли...».....	40
О войне (Глава из поэмы «Чёрный хлеб»).....	41
Несказанные слова.....	44
Завещание.....	45
«Всё думаю о тех, кто не пришёл...».....	47
1941 — 1981.....	48
Пуля.....	49
Батько Василий.....	50
Перед рейхстагом.....	52
«Враги опять о том же, о войне...».....	53
«Влетела, что сквозняк, повестка...».....	54
Мать перед портретом отца.....	55
«На сельском кладбище...» (Глава из поэмы «Пласты»).....	56

ПОЭМЫ

Тревога.....	60
Очевидец.....	64
Отец.....	72

ПРОЗА

Огненные мечики.....	94
Подвиг русских деревень.....	98
Причет Нины Сараевой.....	107
Причет Людмилы Судаковой.....	112
Клавдия Николаевна (<i>Быль</i>).....	114
Укоры совести.....	119
Отцовское озеро.....	121
В. В. Судаков «Слово, равное судьбе».....	136
Письма и фотографии.....	142
Список иллюстраций.....	159
Книги А.А. Романова. <i>Библиографическая справка</i>	160



Литературно-художественное издание

РОМАНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

СВЕТ ПОБЕДЫ

Стихи, поэмы, проза

Составители	А. А. Романова, А.А. Романов, С. А. Романов
Редактор	В.В. Судаков
Корректор	А.А. Романов
Компьютерная вёрстка	С. А. Романов

Подписано к печати 25.01.2005 г. Формат 60x84/16.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.
Объем — 9,53 усл. печ. л. Тираж 1500 экз. Заказ 1025.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в издательском центре Вологодского института развития образования
160012, г. Вологда, ул. Козленская, 99-а

MEMORIAL SERVICE TO BE HELD AT 11 A.M.
ON MONDAY, SEPTEMBER 10, 1945, AT THE
MEMORIAL SERVICE CENTER, 1000
N. 10TH ST., S.W., SEASIDE, CALIF.

